

СКОТТ В.



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:

ТАЛИСМАН

Собрание сочинений

Вальтер Скотт

**Талисман (сборник)**

«Алгоритм»

1825

УДК 821.111  
ББК 84(4Вл)

**Скотт В.**

Талисман (сборник) / В. Скотт — «Алгоритм»,  
1825 — (Собрание сочинений)

ISBN 978-5-486-02503-7

Вальтер Скотт (1771–1832) — английский поэт, прозаик, историк. По происхождению шотландец. Создатель и мастер жанра исторического романа, в котором он сумел слить воедино большие исторические события и частную жизнь героев. Из-под его пера возникали яркие, живые, многомерные и своеобразные характеры не только реальных исторических, но и вымышленных персонажей. За заслуги перед отечеством в 1820 г. Скотту был дарован титул баронета. В основу романа «Талисман», представленного в данном томе положены исторические события третьего Крестового похода (1190–1192), возглавляемого германским императором Фридрихом Барбароссой и английским королем Ричардом Львиное Сердце. Действие разворачивается в Палестине во время перемирия, заключенного между войсками крестоносцев и султаном Саладином. В книгу включены также рассказы «Вдова горца», «Два гуртовщика», «Зеркало тетушки Маргарет» и «Комната с гобеленами», составляющие так называемую «Кэнонгейтскую хронику».

УДК 821.111

ББК 84(4Вл)

ISBN 978-5-486-02503-7

© Скотт В., 1825  
© Алгоритм, 1825

## Содержание

Талисман	6
Предисловие к «Талисману»	6
Глава I	9
Глава II	13
Глава III	20
Глава IV	33
Глава V	40
Глава VI	43
Глава VII	49
Глава VIII	56
Глава IX	63
Глава X	71
Глава XI	77
Конец ознакомительного фрагмента.	79

# Вальтер Скотт

## Собрание сочинений:

### Талисман: Роман; Рассказы

#### Талисман

#### Предисловие к «Талисману»

«Обрученные»\* не очень понравились некоторым моим друзьям, которые сочли, что сюжет этого романа плохо согласуется с общим названием «Крестоносцы». Они утверждали, что при отсутствии прямых упоминаний о нравах восточных племен и о неистовых страстях героев той эпохи заглавие «Повесть о крестоносцах» напоминало бы театральную афишу, в которой, как говорят, была объявлена трагедия о Гамлете, хотя принца датского из числа действующих лиц исключили. Однако мне трудно было дать яркую картину почти неизвестной мне – если не считать детских воспоминаний о сказках «Тысячи и одной ночи» – части света; и во время работы я не только ощущал свою несостоятельность невежды (если говорить о восточных нравах, то мое невежество было столь же полным, как тьма, ниспосланная на египтян\*), но и сознавал, что многие из моих современников осведомлены в этих вопросах так хорошо, как будто сами жили в благословенной стране Гошен\*. Любовь к путешествиям охватила все слои общества и привела подданных Британии во все части света. Греция, влекущая к себе памятниками искусства, борьбой за независимость против мусульманской тирании, самим своим названием – Греция, где с каждым ручейком связана какая-нибудь античная легенда, и Палестина, дорогая нашему сердцу благодаря еще более священным воспоминаниям, были недавно исследованы англичанами и описаны современными путешественниками. Поэтому если бы я, поставив перед собой трудную задачу, попытался заменить придуманными мною нравами подлинные обычаи Востока, то каждый знакомый мне путешественник, побывавший за пределами «Большого круга», как его называли в старину, имел бы право очевидца упрекнуть меня за мои домыслы. Каждый член «Клуба путешественников», который вправе утверждать, что пересек границу Эдома\*, становится по одному этому моим законным критиком. И вот, мы видим, что автор «Анастасиуса»\* и автор «Хаджи-Бабы»\* описали нравы и пороки восточных народов не только с большой точностью, но и с юмором Лесажа\* и комическим талантом самого Филдинга\*, между тем как люди, не сведущие в этом вопросе, неизбежно создают произведения, весьма далекие от совершенства. Поэт-лауреат\* в очаровательной поэме «Талаба»\* также показал, насколько глубоко образованный и талантливый человек, пользуясь одними только письменными источниками, может проникнуть в древние верования, историю и нравы восточных стран, где, вероятно, следует искать колыбель человечества; Мур\* в «Лалла-Рук»\* успешно шел той же стезею, следуя которой и Байрон, соединив опыт очевидца с обширными знаниями, почерпнутыми из книг, создал некоторые из своих самых увлекательных поэм. Одним словом, восточные темы были уже так широко использованы писателями – признанными мастерами своего дела, что я с робостью приступил к работе.

Таковы были высказанные мне серьезные возражения; они не потеряли силы, когда стали предметом тревожных размышлений, хотя в конце концов и не возобладали. Доводы в пользу противоположного мнения сводились к тому, что я, не имея надежды стать соперником упомянутых современников, мог бы все же выполнить поставленную перед собой задачу, не вступая в соревнование с ними.

Эпоха, относящаяся непосредственно к Крестовым походам, на которой я в конце концов остановился, была эпохой, когда воинственный Ричард I, необузданный и благородный, образец рыцарства, со всеми его нелепыми добродетелями и столь же несуразными заблуждениями, встретился с Саладином; христианский английский монарх проявил тогда жестокость и несдержанность восточного султана, в то время как Саладин обнаружил крайнюю осмотрительность и благоразумие европейского государя, и оба они старались перещеголять друг друга в рыцарской храбрости и благородстве. Этот неожиданный контраст дает, по моему мнению, материал для романа, представляющий особый интерес. К числу второстепенных действующих лиц, введенных мною, относится вымышленная родственница Ричарда Львиное Сердце; это нарушение исторической правды оскорбило мистера Милса, автора «Истории рыцарства и Крестовых походов», не понявшего, по-видимому, что романтическое повествование, естественно, требует такого рода выдумки – одного из необходимых условий искусства.

Принц Давид Шотландский, который действительно находился в рядах войска крестоносцев и, возвращаясь на родину, стал героем весьма романтических походов, также был завербован мною на службу и стал одним из моих *dramatis personae*<sup>1</sup>.

Правда, я уже однажды вывел на сцену Ричарда с львиным сердцем. Но тогда он был скорее частным лицом – переодетым рыцарем, между тем как в «Талисмане» он будет изображен в своей истинной роли короля-завоевателя; я не сомневался, что личностью столь дорогого англичанам короля Ричарда I можно воспользоваться для их развлечения не только один раз.

Я ознакомился со всем, что в старину приписывалось, будь то реальные факты или легенды, этому великому воину, которым превыше всего гордилась Европа и ее рыцарство и страшное имя которого сарацины, как рассказывают историки их страны, имели обыкновение упоминать, увещевая своих испуганных коней. «Уж не думаешь ли ты, – говорили они, – что король Ричард преследует нас, и потому так дико мчишься куда глаза глядят?» Весьма любопытное описание жизни короля Ричарда мы находим в старинной поэме, некогда переведенной с норманнского; в первоначальном виде ее, несомненно, можно было отнести к числу рыцарских баллад, но впоследствии она была дополнена самыми удивительными и чудовищными небылицами. Нет, пожалуй, другого известного нам стихотворного произведения, в котором наряду с интересными подлинными событиями описывались бы самые нелепые и невероятные случаи. В приложении к этому предисловию мы приводим отрывок из поэмы, где Ричард изображен настоящим людоедом-великаном<sup>2</sup>.

Главное событие в этом романе связано с предметом, название которого стало его заглавием. Из всех народов, когда-либо живших на земле, персы отличались, вероятно, самой непоколебимой верой в амулеты, заклинания, талисманы и всякого рода волшебные средства, созданные, как утверждали, под влиянием определенных планет и обладавшие ценными лечебными свойствами, а также способностью различными путями содействовать благополучию людей. На западе Шотландии часто рассказывают историю о талисмане, принадлежавшем одному знатному крестоносцу, и семейная реликвия, о которой в ней упоминается, сохранилась до сих пор и даже все еще служит предметом почитания.

Сэр Саймон Локарт из Ли и Гартленда представлял собою заметную фигуру во времена царствования Роберта Брюса\* и его сына Давида\*. Он был одним из предводителей отряда шотландских рыцарей, сопровождавшего Джеймса\*, доброго лорда Дугласа, в его походе в Святую землю с сердцем короля Роберта Брюса. Дуглас, горя нетерпением сразиться с сарацинами, начал войну с неверными в Испании и был там убит.

Локарт и те шотландские рыцари, что избежали участи их вождя, продолжали путь в Святую землю и некоторое время принимали участие в войнах против сарацин.

<sup>1</sup> Действующих лиц (*лат.*).

<sup>2</sup> В настоящее издание это приложение не включено. (*Примеч. ред.*)

Как рассказывает легенда, с ним произошел следующий случай.

В одной битве он захватил в плен богатого и знатного эмира. Престарелая мать пленника пришла в лагерь христиан, чтобы выкупить сына из неволи. Локарт якобы назначил сумму выкупа, и старуха, вытащив большой расшитый кошелек, принялась отсчитывать деньги; как всякая мать, она не думала о золоте, когда дело шло о свободе ее сына. Вдруг из кошелька выпала монета (как утверждают некоторые, эпохи Нижнего Царства\*) со вделанным в нее камнем; по той поспешности, с какой почтенная сарацинка бросилась поднимать монету, шотландский рыцарь заключил, что она представляет большую ценность, нежели золото или серебро. «Я не соглашусь, – сказал он, – даровать твоему сыну свободу, если к выкупу не будет добавлен этот амулет». Старуха не только согласилась, но и объяснила сэру Саймону Локарту, как следует пользоваться талисманом и в каких случаях он приносит пользу. Вода, в которую его погружали, действовала как вяжущее и противохородачное средство и обладала некоторыми другими целебными свойствами.

Сэр Саймон Локарт, неоднократно имевший случай убедиться в чудесном действии талисмана, привез его к себе на родину и завещал своим наследникам, среди которых, как и повсюду в клайдсдейлской долине, он и до сих пор известен под названием Липенни, происходящим от родового поместья Локарта – Ли.

Самым замечательным в истории этого талисмана можно, пожалуй, считать то, что только он не подвергся запрету, когда шотландская церковь сочла нужным осудить многие другие чудодейственные исцеляющие средства, объявив их колдовскими, и запретила прибегать к ним, «за исключением амулета, носящего название Липенни, которому Богу было угодно придать некоторые исцеляющие свойства и который церковь не намерена осуждать». Как мы уже говорили, он все еще существует, и к его целительной силе иногда прибегают и теперь. В последнее время его применяют главным образом для лечения людей, укушенных бешеной собакой; и так как болезнь в этих случаях часто возникает под влиянием воображения, то не приходится удивляться, что вода, настоянная на Липенни, оказывает целебное действие.

Такова легенда о талисмане, которую автор позволил себе несколько изменить, чтобы приспособить к своим целям.

Я также позволил себе значительные вольности в отношении исторической правды при описании как жизни, так и смерти Конрада Монсерратского. Впрочем, на том, что Конрад считался врагом Ричарда, сходятся и история и романы. О всеми признанных расхождениях в их взглядах можно судить по предложению сарацин, чтобы некоторые части Сирии, которые они должны были уступить христианам, были отданы под власть маркиза Монсерратского. Ричард, как рассказывается в романе, названном его именем, «не мог больше сдерживать свое бешенство. Маркиз, сказал он, предатель, укравший у рыцарей-госпитальеров\* шестьдесят тысяч фунтов, подарок его отца Генриха; он ренегат, измена которого явилась причиной потери Аккры; и он в заключение торжественно поклялся, что прикажет разорвать маркиза на части, привязав его к диким лошадям, если тот когда-либо осмелится осквернить лагерь христиан своим присутствием. Филипп попытался вступить за маркиза и, бросив перчатку, заявил, что готов стать поручителем его верности христианству; однако предложение Филиппа было отвергнуто, и ему пришлось уступить буйной запальчивости Ричарда» («История рыцарства»).

Конрад Монсерратский, представлявший собою заметную фигуру среди крестоносцев, был в конце концов убит одним из сторонников Шейха, или Горного Старика\*; но и на Ричарда пало подозрение, что он был вдохновителем его убийства.

В общем можно сказать, что большая часть событий, описанных в предлагаемом вниманию читателей романе, вымышлена и что историческая правда, если она присутствует, сохранена только в изображении героев повествования.

*Эбботсфорд, 1 июля 1832 г.*

## Глава I

*...И они ушли  
В пустыню, но с оружием в руках.  
«Возвращенный рай»<sup>3\*</sup>*

Палящее солнце Сирии еще не достигло зенита, когда одинокий рыцарь Красного Креста\*, покинувший свою далекую северную отчизну и вступивший в войско крестоносцев в Палестине, медленно ехал по песчаной пустыне близ Мертвого моря, там, где в него вливает свои воды Иордан. У этого внутреннего моря, называемого также «озером Асфальтитов», нет ни одного истока.

С раннего утра странствующий воин с трудом пробирался среди скал и ущелий. Затем, оставив позади опасные горные ущелья, он выехал на обширную равнину, где некогда стояли древние города, навлекшие на себя проклятие и страшную кару Всевышнего. Когда путник вспомнил об ужасной катастрофе, превратившей прекрасную плодородную долину Сиддим\* в сухую и мрачную пустыню, он забыл усталость, жажду и все опасности пути. Здесь когда-то был земной рай, орошаемый многочисленными ручьями. Теперь же на этом месте расстилалась голая, иссушенная солнцем пустыня, обреченная на вечное бесплодие.

Путник вздрогнул и перекрестился при виде темных вод, так непохожих на воды других озер: на этом месте расстилалась голая, иссушенная солнцем пустыня, обреченная на вечное бесплодие. Он вспомнил, что под этими ленивыми волнами лежат некогда горделивые города. Могилы их были вырыты громом небесным или извержениями подземного огня, и море скрыло их останки; ни одна рыба не находит приюта в его пучинах, ни один челнок не бороздит его поверхности, и оно не шлет своих даров океану, подобно другим озерам, как будто его страшное ложе лишь одно способно хранить эти мрачные воды. Как в дни Моисея\*, вся местность вокруг была «покрыта серой и солью: ее не засевают, на ней не растут ни плоды, ни трава». Землю, подобно озеру, можно было назвать мертвой: она не производила ничего, что хоть отдаленно походило бы на растительность. Даже в воздухе нельзя было увидеть его обычных пернатых обитателей: их, по-видимому, отгонял запах серных и соляных паров, густыми облаками поднимавшихся из озера под действием палящих солнечных лучей. Облака эти временами напоминали смерчи и гейзеры. Испарения клейкой и смолистой жидкости, называемой нефтью, которая плавала на поверхности этих темных вод, смешивались с клубящимися облаками, как бы подтверждая правдивость страшной легенды о Моисее.

Солнце заливало ослепительно ярким светом этот пустынный ландшафт, и все живое словно спряталось от его лучей. Лишь одинокая фигура всадника медленно двигалась по сыпучему песку; она казалась единственным живым существом на этой широкой равнине.

Доспехи всадника и упряжь его коня мало подходили для путешествия по такой стране. Кольчуга с длинными рукавами, стальной нагрудник и латные рукавицы в те времена не считались слишком громоздким вооружением. С шеи рыцаря свешивался треугольный щит. На голове был стальной шлем с накинутым поверх него капюшоном, который закрывал плечи и шею и заполнял промежуток между латами и шлемом. Бедра и голени всадника, так же как и тело, были надежно защищены гибкой кольчугой, ноги, подобно рукам, были закованы в латы. С левой стороны висел длинный, широкий, прямой меч с крестообразной рукоятью; с правой стороны – короткий кинжал. Вооружение рыцаря дополняло прикрепленное к седлу длинное копье со стальным наконечником; нижний его конец упирался в стремя. На ходу оно отклонялось назад, и флажок на нем то развевался, словно играя с легким ветерком, то свисал непо-

---

<sup>3</sup> Стихотворные переводы, кроме особо оговоренных, выполнены В. Давиденковой.

движно при полном безветрии. Все это громоздкое снаряжение было прикрыто вышитым плащом, сильно потертым и обтрепанным, защищавшим его от палящих солнечных лучей; без такой защиты железные латы слишком накалялись бы от солнца, и всадник не мог бы вынести их прикосновения. На плаще в нескольких местах был вышит герб его владельца, правда изрядно выцветший. Насколько можно было разобрать, на нем был изображен спящий леопард; девиз гласил: «Я сплю – не буди меня». Изображение герба было также на его щите, но многочисленные удары вражеских мечей почти совершенно стерли его. Плоский верх тяжелого цилиндрического шлема не имел обычного украшения в виде гребня. Не расставаясь со своими тяжелыми доспехами, северные крестоносцы словно бросали вызов климату и природе той страны, куда они пришли воевать.

Снаряжение коня едва ли было менее грузным и громоздким, чем доспехи его всадника. На нем было седло, обитое стальным листом; спереди оно соединялось с латами, защищающими грудь, сзади продолжением седла служил стальной панцирь, прикрывающий круп. С луки седла свешивалась булава наподобие стального топора или молота. Уздечка была скреплена цепочкой. Стальная пластинка с отверстиями для глаз и ушей прикрывала голову; в середине этой пластинки находился короткий острый шишак, напоминающий рог фантастического единорога.

Привычка, однако, делается второй натурой: и рыцарь и его благородный конь свыклись с этим тяжелым бременем. Правда, немало воинов из западных стран, отправившихся в Палестину, погибло, так и не свыкнувшись с ее знойным климатом. Некоторым же он не принес вреда и даже шел на пользу. К числу этих немногих счастливых принадлежал и одинокий всадник, медленно ехавший по берегу Мертвого моря.

Природа одарила его такой силой, что он носил тяжелую кольчугу, как будто ее кольца были сотканы из паутины. Она выковала и его здоровье, он легко переносил перемену климата, усталость и всевозможные лишения. В его характере, казалось, было что-то от этого могучего телосложения. В то время как тело его отличалось силой и выносливостью, характер под внешним спокойствием и невозмутимостью таил в себе ту пламенную и восторженную любовь к славе, которая всегда являлась неотъемлемой чертой славной норманнской расы\*, делая норманнов властителями во всех концах Европы, где они обнажали свои отважные мечи.

Но не всем представителям этой расы уготовила фортуна столь соблазнительные награды. Нашему одинокому рыцарю за двухлетнее его странствование по Палестине удалось обрести лишь мимолетную славу и, как его учили верить, некоторые духовные блага. Тем временем его скудные деньги таяли с каждым днем; он никогда не прибегал к тем обычным средствам, какими крестоносцы часто пополняли свои кошельки за счет населения Палестины: он не вымогал у несчастных жителей никаких подарков за то, что падал их имущество во время войны с сарацинами\*, и никогда не пользовался возможностью обогащения при помощи выкупов за знатных пленников. Немногочисленная свита, сопровождавшая его с начала путешествия, постепенно уменьшалась из-за недостатка средств на ее содержание. Единственный оставшийся у него оруженосец заболел и не мог сопровождать своего господина, который, как мы видели, путешествовал в одиночестве. Это, однако, не имело большого значения для крестоносца: он привык смотреть на свой верный меч как на самую надежную защиту, а на свои благочестивые размышления – как на лучших спутников.

Но рыцарь Спящего Леопарда, несмотря на свое железное здоровье и выносливость, все же нуждался в подкреплении и отдыхе; и в полдень, когда Мертвое море находилось в некотором отдалении от него с правой стороны, он с радостью увидел несколько пальм, росших около источника, у которого он собирался устроить себе полуденный отдых. Его добрый конь, медленно двигавшийся вперед с тем же упорством, какое отличало всадника, поднял голову, расширил ноздри и ускорил шаг, как бы почуя вдали живительную влагу, предвещающую отдых

и корм. Но прежде чем конь и всадник достигли желанной цели, им пришлось столкнуться с опасностями и перенести немало испытаний.

Внимательно всматриваясь в эти пальмы, рыцарь Спящего Леопарда заметил среди них какую-то движущуюся точку. Она отделилась от пальм, отчасти скрывавших ее движения, и стала приближаться к рыцарю с такой быстротой, что вскоре он мог распознать в ней всадника. Когда тот приблизился еще больше, по тюрбану, по развевающемуся зеленому плащу и длинному копыю он узнал в нем сарацина. «В пустыне нельзя встретить друга», – говорит восточная пословица. Но крестоносец не беспокоился о том, друг или враг этот неверный, приближавшийся на своем арабском коне, словно на крыльях орла. Верный воин креста, пожалуй, предпочел бы, чтобы он оказался врагом. Высвободив из стремени копые, он взял его на изготовку, подобрал левой рукой поводья, слегка пришпорил своего ретивого коня и приготовился к встрече с незнакомцем со спокойной уверенностью рыцаря, привыкшего выходить победителем из схваток.

Арабский всадник приближался быстрым галопом, управляя конем больше ногами и легким наклоном всего тела, чем поводьями, свободно свешивавшимися с его левой руки. Благодаря этому он мог свободно держать небольшой круглый щит из кожи носорога, украшенный серебром, размахивая им во все стороны, как бы намереваясь отразить этим легким диском сокрушительный удар рыцарского копия.

Вместо того чтобы взять свое собственное длинное копые на изготовку, как это сделал его противник, сарацин держал его за середину вытянутой правой рукой и размахивал им над головой. Приближаясь к неприятелю на полном скаку, он, видимо, предполагал, что рыцарь Спящего Леопарда также галопом на скаку приблизится к нему. Но христианский рыцарь, которому хорошо были известны все повадки восточных воинов, не хотел бесполезными усилиями утомлять своего верного коня. Он остановился, сознавая, что если враг приблизится для удара, то тяжесть его собственных доспехов, а также его коня явится достаточной гарантией превосходства над противником и без добавочной силы стремительного движения. Видимо, поняв грозившую ему опасность, сарацинский всадник приблизился к христианину на расстояние двойной длины копия, быстро и с поразительной ловкостью повернул коня влево и сделал два круга вокруг своего противника. Последний, не двигаясь с места, лишь поворачивался, чтобы встретить его лицом к лицу, предупреждая попытки сарацина напасть на него с незащищенной стороны. Наконец сарацин был принужден описать большой круг и отъехать шагов на сто. Затем, словно ястреб, нападающий на цаплю, мусульманин возобновил атаку, однако опять ему пришлось отступить. Повторил он это и в третий раз. Но христианский рыцарь, намереваясь покончить с игрой, в которой он мог бы истощить свои силы, внезапно схватил привешенную к седлу булаву и, нацелившись, метко бросил ее в голову эмира\* – таков был высокий титул его противника. Сарацин успел только прикрыть свою голову легким щитом. Но все же от сильного удара щит упал на его тюрбан, и хотя эта защита несколько ослабила силу удара, мусульманин был сшиблен с коня. Но прежде чем рыцарь сумел воспользоваться его падением, ловкий мусульманин вскочил на ноги и, позвав своего коня, который тотчас прискакал к нему, не касаясь стремени, прыгнул в седло и вернул себе все преимущества, которых рыцарь Спящего Леопарда надеялся его лишиться. Рыцарь тем временем поднял свою булаву. Восточный же воин, увидав, как искусно и ловко его враг владеет ею, решил отъехать и держаться подальше от этого оружия, мощь которого он только что испытал на себе, по-видимому намереваясь сражаться на почтительном расстоянии, применяя свое собственное метательное оружие. Воткнув копые в песок на некотором расстоянии от места схватки, он ловко натянул тетиву небольшого лука, висевшего у него за спиной. Подскакав к противнику, он опять описал два-три широких круга, более широких, чем прежде, и выпустил шесть стрел так метко, что только сталь лат спасла рыцаря от такого же числа ран. Седьмая стрела нашла, по-видимому, менее защищенное место, и христианин тяжело рухнул на землю. Но каково же было изумление сарацина,

когда он, сойдя с коня, чтобы посмотреть, что случилось с его поверженным врагом, внезапно очутился в железных объятиях рыцаря, который прибегнул к этой хитрости, чтобы приманить к себе противника. Но даже в этой смертельной схватке ловкость и присутствие духа сарацина спасли его. Он быстро отстегнул пояс с мечом, за который ухватился рыцарь Леопарда, и, таким образом, ускользнул из его объятий. Сарацин вскочил на коня, который почти с человеческой наблюдательностью следил за движениями своего хозяина, и ускакал прочь. Однако в этой схватке эмир потерял меч и колчан со стрелами, прикрепленные к поясу, с которым ему пришлось расстаться. Он потерял также свой тюрбан. Все эти неудачи заставили мусульманина искать перемирия. Протянув руку, он приблизился к христианину, но в поведении его уже не было ничего угрожающего.

– Между нашими народами заключено перемирие, – сказал он на лингва-франка – языке, обычно употреблявшемся между крестоносцами и сарацинами. – Почему же должна быть война между тобой и мной? Пусть наступит мир между нами!

– Я согласен, – отвечал рыцарь Спящего Леопарда. – Но где порука в том, что ты будешь соблюдать перемирие?

– Слово служителя пророка\* нерушимо, – ответил эмир. – Скорее от тебя, храбрый назареянин\*, мне нужно было бы потребовать залог, если бы я не знал, что измена редко уживается с мужеством.

Подобная доверчивость мусульманина заставила крестоносца устыдиться своих сомнений.

– Клянусь крестом своего меча, – сказал он, положив руку на эфес, – я буду тебе верным товарищем, сарацин, пока судьбе будет угодно, чтобы мы не разлучались!

– Клянусь Мухаммедом, пророком Божьим, и Аллахом, Богом пророка, – сказал его недавний враг, – в сердце моем нет измены в отношении тебя. А теперь пойдем к источнику: ведь настал час отдыха, я едва успел прикоснуться губами к его прохладной струе, когда твое появление заставило меня приготовиться к схватке с тобой.

Рыцарь Спящего Леопарда учтиво выразил свое согласие, и недавние враги, ни взглядами, ни жестами не выказав больше вражды и недоверия друг к другу, бок о бок поехали к группе видневшихся вдали пальм.

## Глава II

В те времена, когда люди сталкиваются с опасностями, всегда бывают промежутки, когда устанавливается взаимное доверие и расположение. Проявлялось это особенно часто в феодальные времена; по тогдашним нравам война считалась главным и самым достойным занятием, а поэтому периоды мира, или, вернее, перемирия, особенно ценились воинами, столь редко ими пользующимися: мимолетность этих передышек делала их еще более желанными. Стоит ли хранить вечную ненависть к врагу, с которым ты сражался сегодня и, быть может, снова встретишься в кровавой схватке завтра утром? Обстоятельства и время давали такой простор бурным проявлениям сильных страстей и насилия, что люди, если у них не было особых причин для вражды или если их не подогревали воспоминания о личных обидах, с удовольствием входили в мирное общение друг с другом в течение коротких передышек, которые им давала военная жизнь.

Различие религий и даже то фанатическое рвение, которое возбуждало взаимную ненависть у последователей креста и полумесяца\*, смягчались великодушием, свойственным всем благородным воинам, и особенно близким духу рыцарства. От христиан эту славную традицию мало-помалу стали воспринимать их смертельные враги сарацины как в Испании, так и в Палестине. И действительно, они не были уже теми фанатиками-дикарями, которые когда-то нахлынули из необъятных аравийских пустынь с саблех в одной руке и с Кораном\* в другой, сея смерть и веру в Мухаммеда или в лучшем случае обращая в рабство или облагая данью всех, кто осмеливался противиться вере пророка из Мекки\*. Таков был выбор, который они навязали миролюбивым грекам и сирийцам. Но в столкновении с христианами Запада, обладавшими таким же неукротимым мужеством и ловкостью и прославившими себя многими подвигами, сарацины постепенно начали воспринимать их нравы и в особенности те рыцарские обычаи, которые не могли не поразить воображение этого гордого и отважного народа. Они устраивали турниры и рыцарские состязания, у них даже появились собственные рыцари или подобные им звания. Но самым важным было то, что сарацины всегда были верны данному слову, эта их черта могла бы устыдить приверженцев более совершенной религии. Они свято соблюдали перемирия между народами и отдельными людьми. Поэтому война, может быть – худшее из всех зол, представляла им случай проявить верность, великодушие, милосердие и даже добрые чувства. Может быть, чувства эти не так часто проявляются в более спокойные времена, когда страсти, вызванные обидами и распрями, таятся в людских сердцах, не находя выхода.

Под влиянием таких добрых чувств, часто смягчающих ужасы войны, христианин и сарацин, незадолго до этого старавшиеся уничтожить друг друга, медленно двигались к источнику под пальмами, куда направлялся рыцарь Спящего Леопарда, когда на него напал его ловкий и опасный противник. Как бы давая себе отдых после схватки, грозившей каждому роковым исходом, они погрузились в размышления. Их верные кони, видимо, в равной мере наслаждались этими минутами отдыха. Конь сарацина, которому хоть и пришлось гораздо больше двигаться, казался менее усталым, чем конь европейского рыцаря. С последнего еще струился пот, в то время как благородному арабскому скакуну достаточно было нескольких минут, чтобы обсохнуть, – лишь ключья пены виднелись кое-где под уздой и на попоне. Зыбкая почва, по которой они передвигались, усиливала усталость коня христианского рыцаря – ведь он помимо своего тяжелого снаряжения нес на себе закованного в латы всадника. Сойдя с коня, рыцарь повел его по мягкой густой пыли, под жгучими лучами солнца превратившейся в мельчайшие песчинки. Этим он давал отдых своему верному коню, увеличивая собственную усталость. Ноги рыцаря, закованного в тяжелые латы, при каждом шаге глубоко уходили в сыпучий песок.

– Ты хорошо делаешь, – сказал сарацин, и это были первые его слова после заключения перемирия. – Твой добрый конь стоит твоих забот. Но как в такой пустыне иметь дело с конем, который ногами уходит так глубоко в песок, будто хочет достать корни финиковой пальмы?

– Ты говоришь правду, сарацин, – сказал христианский рыцарь, не очень одобряя тот пренебрежительный тон, с каким сарацин говорил о его любимом коне, – правду, которой научила тебя жизнь в пустыне. Но в моей стране мой конь не раз переносил меня через озеро столь же широкое, как то, что раскинулось позади нас, не замочив ни волоска над копытами.

Сарацин посмотрел на него с изумлением, насколько это позволяла ему его природная вежливость: оно выразилось лишь в легкой презрительной улыбке, скользнувшей под его густыми усами.

– Правду говорят, – сказал он, и к нему сразу вернулось его обычное невозмутимое спокойствие, – послушай франка\* – услышишь басню.

– Не очень-то ты учтив, басурман, – отвечал крестоносец. – Ты сомневаешься в словах рыцаря. И если бы ты говорил это не по невежеству, а по злобе, то наше перемирие кончилось бы, не успев как следует начаться. Ты думаешь, что я лгу, когда говорю, что вместе с пятьюстами всадников, закованных, как и я, в тяжелые латы, я проехал много миль по воде, твердой как хрусталь и в десять раз менее хрупкой?

– Что ты мне говоришь? – отвечал мусульманин. – Вон то озеро, на которое ты указываешь, из-за проклятия Всевышнего ничего не принимает в свои волны и все выбрасывает на берег. Но ни Мертвое море, ни один из семи океанов, омывающих землю, не может выдержать тяжести конского копыта, как в свое время Чермное море не могло выдержать фараона\* с его войском.

– Ты говоришь правду по своему разумению, сарацин, – сказал христианский рыцарь. – Но поверь мне: я не рассказываю тебе басни. В этой пустыне жара делает землю почти такой же зыбкой, как вода, а в моей стране холод часто делает воду твердой, как скала. Но лучше не будем больше говорить об этом. Воспоминания о голубой прозрачной поверхности наших озер, зимой отражающих блеск луны и звезд, усугубляют для меня ужасы этой знойной пустыни, где воздух, которым мы дышим, подобен дыханию раскаленной печи.

Сарацин внимательно посмотрел на него, как бы недоумевая, как ему понять эти слова – скрывалась ли за ними какая-то тайна или это была просто ложь. Наконец он сообразил, как ему надо понять слова своего спутника.

– Как видно, – сказал он, – ты принадлежишь к племени, которое любит посмеяться. Вы любите посмеяться над другими, рассказывая небылицы. Ведь ты принадлежишь к французским рыцарям, а их первое удовольствие дурачить друг друга, хвастаясь сверхчеловеческими подвигами. Если бы я стал спорить с тобой, я все равно был бы не прав, поскольку хвастовство свойственно вам больше, чем правда.

– Я не из их страны и не следую их повадкам, – сказал рыцарь, – или привычке дурачить людей, как ты сказал, хвастаясь выдумками или начиная дело, которое не может быть доведено до конца. Но я уподобился этим безумцам, рассказывая тебе, храбрый сарацин, о вещах, которые ты не можешь понять: я оказался в твоих глазах хвастливым лгуном, хотя я и сказал тебе чистую правду. Поэтому, прошу, не обращай внимания на мои слова.

В это время они подъехали к тенистым пальмам, из-под которых бил искрящийся источник.

Мы говорили о коротком перемирии во время войны: столь же отрадным был этот прелестный уголок среди бесплодной пустыни. В другом месте его красота не привлекла бы особого внимания. Но здесь, в безграничной пустыне, где этот оазис был единственным местом, сулившим живительную влагу и тень – блага, которыми мы не дорожим, когда имеем их в изобилии, он казался маленьким раем. В те далекие времена, когда для Палестины еще не наступили черные дни, чья-то добрая и милосердная рука обнесла стеной этот источник, при-

крыв его сводом, чтобы он не просочился в землю и чтобы облака пыли, поднимавшиеся при малейшем дуновении ветра, не засыпали бы его. Этот свод был полуразрушен, но часть его по бокам прикрывала источник, защищая его от солнца. Лишь случайно лучи кое-где освещали поверхность воды. В то время как все кругом было иссушено и пылало от нестерпимого зноя, ничем не нарушаемый покой оазиса ласкал глаз и воображение. Выбываясь из-под арки, вода стекала в мраморный бассейн, правда полуразрушенный, но все еще веселящий взор. Все свидетельствовало о том, что это место еще в древности предназначалось для отдыха путников и что когда-то здесь трудилась заботливая человеческая рука. Все напоминало усталому путнику, что и другие испытывали те же невзгоды, и отдыхали на том же месте, и, несомненно, благополучно достигали более гостеприимных краев. Едва заметный ручеек, вытекавший из бассейна, орошал несколько деревьев, окружавших источник; здесь он уходил в землю и пропадавал, и лишь бархатный зеленый ковер напоминал о его благодетельном присутствии.

Здесь, в этом прекрасном уголке, воины сделали привал; каждый из них, согласно своему обычаю, снял с коня узду и расседлал его, напоив в бассейне. Они сами напились из источника под сводом. Затем они пустили коней пастись, зная их привычки: чистая вода и свежая трава не дадут им далеко уйти от своих хозяев.

Христианин и сарацин сели рядом на лужайке и достали из своих сумок скудные запасы еды, которые они захватили с собой. Однако, прежде чем приступить к своей скромной трапезе, они пристально оглядели друг друга. Подобное любопытство было вызвано тем, что после недавней схватки не на жизнь, а на смерть каждому хотелось измерить силы своего грозного противника, да и по возможности составить себе представление о его характере. И каждый должен был признать, что, пади он в бою, он пал бы от благородной руки.

По внешнему виду и чертам лица соперники являли собой полный контраст – каждый из них был характерным представителем своей нации. Франк отличался физической силой и был похож на древнего гота\*. Целый лес каштановых волос рассыпался по плечам, лишь только он снял шлем. Смуглое лицо его загорело от солнца больше, чем шея, менее подверженная загару. Загар этот не гармонировал ни с его большими голубыми глазами, ни с цветом его кудрей и густых усов, свисавших над верхней губой. По норманнскому обычаю его подбородок был тщательно выбрит. У него был правильный греческий нос, рот несколько велик, но с прекрасными белыми зубами; его небольшая голова отличалась горделивой посадкой. Ему едва ли было больше тридцати лет, но возраст этот можно было бы уменьшить года на три-четыре, если принять во внимание невзгоды боевой жизни и тяжелый климат. Если вся его фигура в будущем и могла бы стать более тяжеловесной благодаря высокому росту и атлетическому сложению, то теперь она еще отличалась легкостью и подвижностью. У него были поразительно мощные мускулистые руки. Сняв латные рукавицы, он обнажил красивые, не тронутые загаром длинные кисти рук с очень широкими и сильными запястьями. Воинственная смелость и беспечная откровенность отличали его речь и движения. Голос же изобличал человека, привыкшего скорее командовать, чем повиноваться. Он открыто и смело выражал свои чувства.

Сарацинский эмир являл собой резкий контраст с западным крестоносцем. Роста он был выше среднего, но все же дюйма на два-три ниже европейца, почти гиганта. Стройные ноги и тонкие руки хоть и гармонировали с его внешностью, на первый взгляд не указывали на силу и ловкость, которые он только что проявил. Но, приглядевшись к нему внимательнее, можно было заметить, что на его руках и ногах совершенно не было лишнего мяса или жира и они состояли лишь из костей, мускулов и сухожилий; это придавало легкость и свободу всем его движениям. Поэтому он обладал гораздо большей выносливостью и легче переносил усталость, чем какой-нибудь сильный, грузный великан, парализованный тяжестью собственного тела и изнемогающий от своих движений. Лицо сарацина отличалось всеми характерными для его восточного племени чертами, в нем не было ничего общего с тем искаженным образом, который менестрели\* тех дней обычно придавали языческим воинам, а равно фантастиче-

скими изображениями «головы сарацина», все еще красующимися на указательных столбах. Его сильно загоревшее под лучами южного солнца лицо с тонкими и, несмотря на загар, изящными чертами заканчивалось густой, волнистой черной бородой, подстриженной с необыкновенной заботливостью. У него был прямой, правильный нос, его глубоко сидящие черные глаза светились пронзительным светом, а зубы по красоте не уступали слоновой кости. Внешность сарацина, растянувшегося на траве рядом со своим мощным противником, можно было бы сравнить с его сверкающей саблей, изогнутой в виде полумесяца, с ее узким и легким, но острым дамасским клинком, так непохожим на длинный, тяжелый готский меч, лежавший на земле рядом с ним. Эмир был во цвете лет и мог бы считаться красавцем, если бы не его слишком узкий лоб и заостренные, худые черты лица, не совсем соответствовавшие европейскому понятию о красоте.

Манеры восточного воина были сдержанные, но изящные и указывали отчасти на привычку вспыльчивых людей сдерживать свой темперамент, а отчасти на чувство собственного достоинства, порождавшее некоторую церемонность в обращении.

Сознание собственного превосходства можно было наблюдать и у его европейского спутника, но проявлялось оно иначе: в то время как христианину оно диктовало смелость, резкость и некоторую беззаботность, как бы указывая на то, что он знает себе цену и ему безразлично мнение других, сарацину оно предписывало вежливость, более усердную в соблюдении церемоний. Оба они были учтивы, но вежливость христианина проистекала из сознания его долга в отношении к окружающим, тогда как учтивость сарацина – из его гордости и сознания собственного достоинства.

Трапеза обоих путников была весьма неприветливая, у сарацина – даже более чем скромная. Горсти фиников и куска ячменного хлеба было достаточно, чтобы утолить голод восточного воина, привыкшего довольствоваться скудными дарами пустыни, хотя со времен завоевания Сирии сарацинами, простота в жизни арабов часто уступала место безграничной роскоши. Несколькими глотками воды из источника он закончил свою трапезу. Еда христианина, хоть и грубая, была куда более обильной. Существенной частью ее была возбуждающая отвращение у мусульман вяленая свинина; из обтянутой кожей фляги он пил нечто лучшее, чем простая вода. Ел и пил он с большим аппетитом, это коробило сарацина, ибо на еду он смотрел лишь как на удовлетворение телесной потребности. То презрение, какое втайне каждый испытывал к другому, как к последователю ложной религии, несомненно усугублялось благодаря этим различиям в пище и манерах. Но каждый уже испытал на себе силу другого, и взаимного уважения, возникшего после смелого поединка, было достаточно, чтобы заставить умолкнуть более мелкие чувства. Сарацин, однако, не мог удержаться от неодобрительных замечаний по поводу того, что ему не нравилось в поведении и манерах христианина. Наблюдая за рыцарем, который ел с большим аппетитом и закончил еду намного позднее его, он наконец прервал молчание:

– Храбрый назарейнин, к лицу ли тому, кто так доблестно сражался, пожирать еду как собака или волк? Неверующий еврей и тот бы пришел в негодование от пищи, которую ты смакуешь, да еще с таким видом, словно это плод с райского дерева.

– Храбрый сарацин, – отвечал на этот неожиданный упрек христианин, с удивлением взглянув на собеседника, – знай, что я пользуюсь своей христианской свободой, когда ем то, что запрещено евреям, пребывающим, как они сами считают, под игом у древних заповедей Моисея\*. Да будет тебе известно, сарацин, что в своих деяниях мы подчиняемся более высокому закону. Ave, Maria!<sup>4</sup> – И, как бы бросая вызов упрекам своего спутника, он закончил краткую молитву на латинском языке жадным глотком из своей кожаной фляги.

---

<sup>4</sup> Радуйся, Мария! (лат.)

– И это ты тоже называешь свободой? – сказал сарацин. – Ты не только жрешь как животное, но еще и унижаешь себя, обращаясь в скотское состояние, когда лакаешь это ядовитое пойло\*, от которого отвернулась бы даже скотина.

– Пойми ты, глупый сарацин, – не задумываясь ответил христианин, – что ты вместе с твоим отцом Измаилом\* хулишь дары Божьи. Сок винограда дается тому, кто умеет с толком его пить: он услаждает душу человека после трудной работы, освежает его в болезни и утешает в горести. Тот, кто им услаждается в меру, может благодарить Бога за свою чашу с вином, как благодарит он его за хлеб насущный. Но тот, кто злоупотребляет этим даром небесным, в своем опьянении не глупее, чем ты в своем воздержании.

Услышав эту злую насмешку, сарацин сверкнул глазами и схватился за рукоять кинжала. Но мимолетный порыв замер, стоило ему только вспомнить о страшной силе своего недавнего противника, об этом могучем человеке, с которым он уже имел дело, и об отчаянной схватке, которая давала еще себя чувствовать во всем теле; и он предпочел продолжать спор на словах, находя это более безопасным.

– Твои слова, о назарянин, – сказал он, – могли бы вызвать гнев, но твое невежество достойно лишь сожаления. Разве ты сам не видишь, слепец еще более слепой, чем всякий нищий, просящий милостыню у входа в мечеть, что та свобода, которой ты похваляешься, ограничена даже в том, что является самым дорогим для счастья человека и его домочадцев. А твой закон, если ты ему подчиняешься, ограничивает тебя, позволяя иметь только одну жену, безразлично, здорова она или больна, плодovита или бесплодна, приносит она в твой домашний очаг утешение и радость или распри и ссоры. Вот это, назарянин, я называю рабством, тогда как пророк разрешил правоверным жить на земле, как патриарх Авраам\*, отец наш, и Соломон\*, самый мудрый среди людей: здесь мы можем выбирать каких угодно красавиц, а за гробом лицезреть чернооких гурий, дев райских.

– Клянусь именем Того, кого я больше всего чту на небесах, – сказал христианин, – и именем Той, которую я превыше всех ценю на земле, что ты лишь ослепленный и заблудший неверный! Этот бриллиантовый перстень, что ты носишь на пальце, ты ведь, несомненно, считаешь бесценным?

– В Бальсоре и Багдаде\* нельзя найти подобного, – ответил сарацин, – но к чему твой вопрос? Он не относится к делу.

– Нет, даже очень, – отвечал франк, – как ты сам сейчас должен будешь признать. Возьми мою булаву и расколи этот камень на двадцать осколков. Разве каждый из них будет равноценен целому камню или, если их собрать опять вместе, разве ценность их составит хоть десятую часть целого?

– Ты говоришь, как ребенок, – отвечал сарацин, – осколки такого камня не составили бы и сотой доли его стоимости.

– Та любовь, мой сарацин, – продолжал воин-христианин, – искренняя и честная, которая связывает настоящего рыцаря лишь с одной, – вот это и есть драгоценность! Та любовь, что ты даришь женам, рабыням и наложницам, стоит не больше, чем блестящие осколки разбитого бриллианта.

– Клянусь святой Каабой\*, – воскликнул эмир, – ты просто сумасшедший, который любит свою железную цепью, принимая ее за золотую! Взгляни на вещи более внимательно! Мой перстень потерял бы половину своей красоты, если бы он не был окружен и отделан мелкими бриллиантами, которые его украшают и оттеняют его блеск. Большой алмаз в середине – это мужчина, стойкий и цельный, его ценность зависит только от его собственных качеств. Вот этот круг более мелких камней – женщины, заимствующие от него его блеск и сияние, которыми он их наделяет согласно своим желаниям и прихотям. Вынь из перстня главный камень, он по-прежнему останется драгоценным алмазом, тогда как мелкие утратят свою ценность. Вот истинное толкование твоей притчи. Поэт Мансур\* сказал: «Благосклонность мужчины дает

красоту и обаяние женщине, подобно тому как ручей перестает сверкать, если солнце больше не светит».

– Сарацин, – отвечал рыцарь, – ты говоришь так, как будто никогда не видел женщины, достойной любви воина. Поверь мне: если бы ты мог увидеть европейских женщин, которым мы, рыцари, перед небом даем клятву в верности и преданности, ты бы навсегда возненавидел тех жалких сладострастных рабынь, которые наполняют твой гарем. Красота наших избранниц заостряет наши копья и оттачивает наши мечи. Их слово для нас – закон. Если у рыцаря нет той, которая владеет его сердцем, он никогда не сможет отличиться в ратных подвигах, так же как незажженный светильник не может дать света.

– Слышал я все эти бредни от западных воинов, – возразил эмир, – и считаю их признаками того безумия, которое несет вас сюда для захвата пустой гробницы\*. Однако поскольку франки, с которыми мне приходилось встречаться, так прославляют красоту своих женщин, я не прочь был бы взглянуть своими глазами на чары тех, которые могут обратить таких смелых воинов в предмет своих любовных утех.

– Храбрый сарацин, – сказал рыцарь, – если бы не мое паломничество ко Гробу Господню, я был бы счастлив охранять твою жизнь, сопровождая тебя до лагеря короля Ричарда Английского\*, который лучше других знает, как отдать почести благородному противнику. Хоть я и беден и одинок, я мог бы обеспечить тебе или любому из твоего племени не только безопасность, но также уважение и почет. Ты увидел бы красивейших женщин Франции и Англии, блеск которых в тысячу раз превосходит сверкание твоего бриллианта и всех алмазных россыпей мира.

– Клянусь краугольным камнем Каабы, – сказал сарацин, – я приму приглашение так же охотно, как ты приглашаешь меня, если ты отложишь свое дальнейшее путешествие. И поверь мне, храбрый назареянин, лучше было бы тебе повернуть назад к стану твоего народа, ибо продолжать путь в Иерусалим без охранной грамоты – все равно что добровольно расстаться с жизнью.

– Есть у меня грамота, да еще за подписью и печатью Саладина\*, – ответил рыцарь, показывая кусок пергамента.

Узнав подпись и печать прославленного султана Египта и Сирии, сарацин склонил голову до земли и, со знаками глубокого уважения целуя пергамент, приложил его ко лбу, после чего вернул христианину, сказав:

– Неосторожный франк, ведь ты согрешил против своей и моей крови, не показав мне эту грамоту при встрече.

– Но ведь ты напал на меня с поднятым копьём, – сказал рыцарь. – Если бы на меня напало целое войско сарацин, я думаю, что не запятнал бы своей чести, показав грамоту султана, но я встретился с врагом один на один.

– Но и одного человека достаточно было, чтобы прервать твой путь, – надменно возразил сарацин.

– Верно, храбрый мусульманин, – отвечал христианин, – но таких, как ты, немного. Такие соколы не летают стаями и, конечно, не бросятся все на одного.

– Ты воздаешь нам должное, – сказал сарацин, видимо польщенный этой похвалой. Его самолюбие было задето предыдущими хвастливыми словами европейца, в которых слышалось явное презрение. – Мы не причинили бы тебе зла. Хорошо еще, что я не заколол тебя, у кого есть охранная грамота от короля королей! Нет сомнения, что веревка или удар сабли справедливо покарали бы меня за такое преступление.

– Рад слышать, что эта грамота может сослужить мне службу, – сказал рыцарь. – Слышал я, что дорога кишит разбойниками, которые только и ищут случая пограбить.

– Тебе сказали правду, храбрый христианин, – оказал сарацин. – Но тюрбаном пророка клянусь тебе, что, если б ты только попал в руки этих негодяев, я пришел бы на выручку и

отомстил за тебя с пятью тысячами всадников. Я убил бы всех мужчин и отослал бы их жен в рабство так далеко, что за пятьсот миль от Дамаска\* никто больше не услышал бы об их племени. Я засыпал бы солью все развалины их жилищ, так что ни одна живая душа не смогла бы в них больше обитать.

– Мне хотелось бы, чтобы все эти заботы достались тебе на долю не из-за меня, а из-за более важной особы, благородный эмир, – ответил рыцарь, – но я дал обет перед небом и исполню его, что бы ни случилось. Я был бы обязан тебе, если бы ты указал мне дорогу к такому месту, где я мог бы сегодня вечером отдохнуть.

– Ты сможешь отдохнуть под черным пологом палатки моего отца, – сказал сарацин.

– Эту ночь я должен провести в молитве и покаянии с одним святым человеком по имени Теодорик Энгаддийский. Он живет среди этих дикарей, проводя время в служении Богу.

– Я по крайней мере провожу тебя туда, – сказал сарацин.

– Такой провожатый мне был бы очень приятен, – сказал христианин. – Однако это может навлечь опасность на святого старца. Ведь руки твоих жестоких соплеменников запятнаны кровью служителей Бога, поэтому мы и явились сюда в латах и кольчуге, с копьем и мечом, чтобы проложить путь ко Гробу Господню и защищать святых избранников и отшельников, еще живущих в этой обетованной, чудесной земле.

– Назарянин, – сказал мусульманин, – греки и сирийцы оклеветали нас. Мы следуем законам Абубекра Альвакеля\*, преемника пророка и после него первого вождя правоверных. «Отправляйся в поход, Иезед бен-Софиан\*, – сказал он, посылая этого именитого военачальника отвоевать Сирию у неверных. – Веди себя как подобает воину, не убивая ни стариков, ни калек, ни женщин, ни детей. Страну не опустошай, не уничтожай ни посева, ни фруктовых деревьев: это дары Аллаха. Свято храни данный обет, даже если это принесет вред тебе самому. Если ты встретишь святых людей, обрабатывающих землю своими руками и служащих Богу в пустыне, не причиняй им зла и не разрушай их жилищ. Но если только встретишь бритые головы, то знай, что это они из синагоги Сатаны! Убивай, руби их саблями до тех пор, пока не обратятся в нашу веру или не станут нашими данниками». Как приказал нам калиф, друг пророка, так мы и поступаем, и наше правосудие карает только тех, кто служит Сатане. Тех же добрых людей, которые искренне исповедуют веру в Исса бен-Мариам\*, не сея вражды между народами, охраняет наш щит. Таков тот, кого ты ищешь, и хоть вера в пророка не осенила его своим светом, он всегда будет пользоваться моей любовью, уважением и защитой.

– Тот отшельник, которого я хочу навестить, – сказал воин-пилигрим, – как я слышал, не священник. Но если он принадлежит к этому святому сословию, я бы своим копьем показал язычникам и неверным....

– Не будем презирать друг друга, брат мой, – прервал его сарацин. – Каждый из нас найдет достаточно франков и мусульман, на которых можно было бы направить меч и копье. Этот Теодорик пользуется покровительством турок и арабов. Иногда он ведет себя странно, но он верный служитель своего пророка и заслуживает защиты того, кто был послан...

– Клянусь Пресвятой Девой, сарацин! – воскликнул христианин. – Если ты только дерзнешь произнести имя этого погонщика верблюдов из Мекки рядом с именем...

Гневная дрожь, словно электрический ток, пробежала по телу эмира. Но это была лишь мимолетная вспышка, и ответ его дышал спокойствием, достоинством и сознанием своей правоты, когда он сказал:

– Не поноси того, кого не знаешь. Тем более что мы уважаем основателя твоей религии, хоть и порицаем учение, которым опутали вас ваши священники. Я сам тебя провожу до пещеры отшельника, которую, думаю, без моей помощи тебе трудно будет найти. А пока предоставим муллам и монахам спорить о Божественном происхождении нашей веры и будем говорить на темы, более подходящие молодым воинам: о битвах, красивых женщинах, острых мечах и блестящих доспехах.

## Глава III

После недолгого отдыха, окончив свою скромную трапезу, воины поднялись с места, и каждый любезно помог другому приладить упряжь и доспехи, от которых на время были освобождены их верные кони. Видно было, что они прекрасно владели этим искусством, составлявшим в те времена весьма важную часть ратного дела. Их кони, верные товарищи во всех странствиях и войнах, выказывали им доверие и привязанность, поскольку это допускает разница между животным и разумным существом. Для сарацина эта дружба с конем была привычной с раннего детства: в шатрах воинственных племен Востока конь воина занимает почти такое же важное место, как его жена и дети. Для западного же воина его боевой конь, деливший с ним все невзгоды, был верным собратом по оружию. Поэтому кони спокойно расстались со своим пастбищем и свободой, они приветливо ржали, обнюхивая своих хозяев, пока те прилаживали седла и доспехи для предстоящего трудного пути. Каждый воин, занимаясь своим делом или любезно помогая своему товарищу, с пытливым любопытством разглядывал снаряжение своего попутчика, замечая все, что казалось ему необычным в его приемах.

Прежде чем сесть на коней и продолжать путь, христианский рыцарь снова смочил губы и окунул руки в живительный источник.

– Хотел бы я знать название этого чудесного источника, – сказал он своему товарищу-мусульманину, – чтобы запечатлеть его в моей благодарной памяти: никогда еще столь живительная влага не утоляла жажды более томительной, чем я испытал сегодня.

– На арабском языке, – отвечал сарацин, – его название означает «Алмаз пустыни».

– Правильно его назвали, – ответил христианин. – В моей родной долине тысяча родников, но ни с одним из них у меня не будет связано таких дорогих воспоминаний, как с этим одиноким источником, дарящим свою драгоценную влагу там, где она не только дает наслаждение, но и необходима для жизни.

– Правду ты говоришь, – сказал сарацин, – ибо на том море смерти все еще лежит проклятие, и ни человек, ни зверь не пьют ни из него, ни из реки, что его питает, но не может насытить. Из нее пьют лишь за пределами этой негостеприимной пустыни.

Они сели на коней и продолжали путь через песчаную пустыню. Полуденный зной спадал, и легкий ветерок немного смягчил зной пустыни, хоть и нес на своих крыльях мельчайшую пыль. Сарацин мало обращал на нее внимания, в то время как его тяжело вооруженному спутнику это так досаждало, что он снял свой железный шлем, повесил его на лук седла и заменил его легким колпачком, носившим в те времена название *mortier*<sup>5</sup> из-за его сходства со ступкой. Некоторое время они ехали молча. Сарацин взял на себя роль проводника, указывая дорогу и всматриваясь в едва заметные очертания скал горного хребта, к которому они приближались. Казалось, он был всецело поглощен этим занятием, как кормчий, ведущий корабль по узкому проливу. Но не проехав полумили и убедившись в правильности выбранной им дороги, он, вопреки характерной для своего народа сдержанности, пустился в разговор:

– Ты спрашивал о названии того источника, напоминающего живое существо. Да простишь ты меня, если я спрошу тебя об имени моего спутника, с которым я сначала померился силами в опасной схватке, а потом разделил минуты отдыха. Оно, вероятно, неизвестно даже здесь, в Палестине?

– Оно еще недостойно славы, – сказал христианин. – Однако знай, что среди крестоносцев я известен под именем Кеннета – Кеннет, рыцарь Спящего Леопарда. На родине у меня есть еще много имен, но для слуха восточных племен они показались бы слишком резкими

---

<sup>5</sup> Ступка (фр.).

и грубыми. Теперь, храбрый сарацин, позволь и мне спросить, к какому арабскому племени принадлежишь ты и под каким именем ты известен?

– Рыцарь Кеннет, – сказал мусульманин, – я рад, что мои уста легко могут произнести твое имя. Хотя я и не араб, но происхождение свое веду от рода не менее дикого и воинственного. Да будет тебе известно, рыцарь Леопарда, что я – Шееркоф, Горный Лев, и что в Курдистане, откуда я происхожу, нет рода более благородного, чем род сельджуков\*.

– Я слышал, – отвечал христианин, – что ваш великий султан происходит из того же рода.

– Слава пророку, так почтившему наши горы: из их недр он послал в мир того, чье имя – победа, – отвечал язычник. – Пред королем Египта и Сирии я – лишь червь, но все же мое имя на моей родине кое-что значит. Скажи, чужестранец, сколько воинов вышло с тобой вместе на эту войну?

– Клянусь честью, – сказал рыцарь Кеннет, – с помощью друзей и сородичей я едва снарядил десяток хорошо вооруженных всадников и пятьдесят воинов, включая стрелков из лука и слуг. Одни покинули несчастливое знамя, другие пали в боях, некоторые умерли от болезней, а мой верный оруженосец, ради которого я предпринял это паломничество, лежит больной.

– Христианин, – сказал Шееркоф, – здесь у меня в колчане пять стрел, и на каждой – перо из орлиного крыла. Стоит мне послать одну к шатрам моего племени, как тысяча воинов сейчас же сядет на коней, пошлю другую – встанет еще такое же войско, а пять стрел заставят пять тысяч всадников повиноваться мне. Отправлю туда лук – и пустыня сотрясется от десяти тысяч всадников. А ты со своими пятьюдесятью пришел сюда покорить эту страну, в которой я – один из самых ничтожных.

– Клянусь распятием, сарацин, – возразил западный воин, – прежде чем похвалиться, подумай о том, что одна железная рукавица может раздавить целый рой ос.

– Да, но сначала железная рукавица должна поймать их, – сказал сарацин с такой саркастической улыбкой, которая могла бы испортить их новую дружбу, если бы он не переменял тему разговора, и сразу добавил: – А разве храбрость так высоко ценится среди знатных, что ты, без денег и без войска, можешь стать, как ты говорил, моим покровителем и защитником в стане твоих собратьев?

– Знай же, сарацин, – сказал христианин, – что имя рыцаря и его благородная кровь дают ему право занять место в рядах самых знатных властелинов и равняться с ними во всем, кроме королевской власти и владений. Если бы сам Ричард, король Англии, задумал оскорбить честь рыцаря, хоть бы и такого бедного, как я, он по рыцарским законам не мог бы отказаться от поединка.

– Хотел бы я посмотреть на такое странное зрелище, – сказал эмир, – где какой-то кожаный пояс и пара шпор позволяют самому бедному стать рядом с самым могущественным.

– Не забудь прибавить к этому благородную кровь и неустрашимое сердце, – сказал христианин, – тогда бы ты не судил ложно о благородстве рыцарства.

– И вы так же смело можете обращаться с женщинами, принадлежащими вашим военачальникам и вождям? – спросил сарацин.

– Видит бог, – сказал рыцарь Спящего Леопарда, – самый ничтожный рыцарь в христианской стране волен посвятить свою руку и меч, славу своих подвигов и непоколебимую преданность сердца благородному служению прекраснейшей из принцесс, чело которой когда-либо было увенчано короной.

– Однако ты только что говорил, – сказал сарацин, – что любовь – это высшее сокровище сердца. И твоя любовь, наверно, посвящена знатной, благородной женщине?

– Чужестранец, – отвечал христианин, густо краснея, – мы не разглашаем опрометчиво, где мы храним наше драгоценное сокровище. Достаточно тебе знать, что моя любовь посвящена даме самой благородной, самой родовитой. Если ты хочешь услышать о любви и сломан-

ных копьях, отважся, как ты намеревался, приблизиться к стану крестоносцев, и, если захочешь, ты найдешь дело и для своих рук, да и уши всего наслышатся.

Приподнявшись в стременах и потрясая в воздухе копьем, восточный воин воскликнул:

– Боюсь, что среди крестоносцев не найдется ни одного, кто бы померился со мной в метании копья.

– Не могу обещать тебе этого, – отвечал рыцарь. – Хотя, конечно, в стане найдется несколько испанцев, весьма искусных в ваших восточных состязаниях с метанием копья.

– Собаки и собачьи сыны! – воскликнул сарацин. – И на что потребовалось этим испанцам идти сюда покорять правоверных, когда в их собственной стране мусульмане – их владыки и хозяева? Уж с ними бы я не стал затевать никаких военных игр.

– Смотри, чтобы рыцари Леона или Астурии\* не услышали, как ты о них говоришь, – сказал рыцарь Леопарда. – Но, – добавил он, улыбнувшись при воспоминании об утренней схватке, – если бы вместо стрелы ты захотел выдержать удар секирой, нашлось бы достаточно западных воинов, которые могли бы удовлетворить твое желание.

– Клянусь бородой моего отца, благородный рыцарь, – сказал сарацин, подавляя смех, – такая игра слишком груба, чтобы заниматься ею просто ради забавы, но в бою я никогда не старался бы избежать с ними встречи; голова же моя, – тут он приложил руку ко лбу, – никогда не позволит мне искать таких встреч ради забавы.

– Хотел бы я, чтобы ты посмотрел на секиру короля Ричарда, – отвечал западный воин. – Та, что привешена к луке моего седла, перышко в сравнении с ней.

– Мы много слышали об этом властелине на острове, – сказал сарацин. – Ты тоже принадлежишь к числу его подданных?

– Я один из его соратников в этом походе, – отвечал рыцарь, – и служу ему верой и правдой. Но я не родился его подданным, хоть и принадлежу к уроженцам того острова, которым он правит.

– Как это надо понимать? – спросил восточный воин. – Разве у вас два короля на одном маленьком острове?

– Это именно так, как ты говоришь, – сказал шотландец (сэр Кеннет был родом из Шотландии). – Хоть население обеих окраин этого острова находится в постоянной войне, страна, как ты видишь, может снарядить войско, способное совершить далекий поход, чтобы освободить города Сиона\*, томящиеся под нечестивым игом твоего властелина.

– Клянусь бородой Саладина, назарянин, ведь это безумие и ребячество! Я бы мог посмеяться над простодушием вашего великого султана: он приходит завоевывать пустыни и скалы, сражаясь с государями в десять раз сильнее его, оставляя часть своего узкого островка, где он царствовал, под скипетром другого властелина. Право же, сэр Кеннет, и ты и все твои добрые товарищи – вы должны были бы подчиниться власти короля Ричарда, прежде чем оставить свою родную землю, разделенную на два лагеря, и отправиться в этот поход.

Горячим и стремительным был ответ Кеннета:

– Нет, клянусь небесным светилом! Если бы английский король не начал Крестовый поход до того, как стал властелином Шотландии, полумесяц мог бы вечно сиять над стенами Сиона – ни я, да и никто из верных сынов Шотландии и пальцем не шевельнул бы.

Зайдя так далеко в своих рассуждениях и как бы спохватившись, он прошептал: «*Mea culpa! Mea culpa!*<sup>6</sup> Разве мне, воину креста, подобает вспоминать о войнах между христианскими народами?»

От мусульманина не ускользнул этот внезапный порыв, сдержанный чувством долга, и хотя он не совсем понимал, что все это означало, все же он услышал достаточно, чтобы убедиться, что у христиан, как и у мусульман, есть свои личные обиды и национальные распри, не

---

<sup>6</sup> Моя вина! Моя вина! (*лат.*)

всегда примиримые. Но сарацины принадлежали к племени, у которого вежливость стояла на первом месте, как им указывала их религия, и высоко ценили правила учтивости, и он пропустил мимо ушей слова, выражающие противоречивые чувства сэра Кеннета, в сознании которого крестоносец и шотландец спорили друг с другом.

По мере их продвижения вперед ландшафт заметно менялся. Теперь они повернули к востоку и приблизились к крутым голым склонам гор, окружающих пустынную равнину Эти горы вносят некоторое разнообразие в пейзажи, не скрашивая, однако, облик этой унылой пустыни. С обеих сторон дороги появились скалистые остроконечные вершины, а далее – глубокие ущелья и высокие кручи с узкими, труднопроходимыми тропинками. Все это создавало для путников иные препятствия по сравнению с теми, какие они преодолевали до сих пор. Мрачные пещеры и бездны среди скал – гроты, так часто упоминаемые в Библии, грозно зияли по обе стороны по мере того, как путники продвигались вперед. Шотландский рыцарь слушал рассказы эмира о том, как зачастую все эти ущелья были убежищем хищных зверей или людей еще более свирепых. Доведенные до отчаяния постоянными войнами и притеснениями со стороны воинов как креста, так и полумесяца, они становились разбойниками и не щадили никого, без различия звания, религии, пола и возраста своих жертв.

Шотландский рыцарь, уверенный в своей отваге и силе, без особого любопытства прислушивался к рассказам о нападениях диких зверей и разбойников. Однако его обуял какой-то непонятный страх при мысли, что он теперь находится среди той ужасной пустыни сорокадневного поста, где злой дух искушал сына человеческого. Он рассеянно слушал, постепенно переставая обращать внимание на речи воина-язычника, ехавшего рядом с ним: в другом месте веселая болтовня его спутника, пожалуй, и занимала бы его. Но Кеннет чувствовал, что какой-нибудь босоногий монах больше подходил бы ему в спутники, чем этот веселый язычник, – в особенности в этих пустынных, иссохших местах, где витали злые духи, изгнанные из тел смертных, где они раньше обитали.

Эти мысли тяготили его тем сильнее, чем веселее становился сарацин по мере их продвижения вперед: чем дальше он двигался среди этих мрачных, уединенных скал, тем непринужденнее становилась его болтовня. Она даже перешла в песню, когда он увидел, что его слова остаются без ответа.

Кеннет достаточно знал восточные языки, чтобы убедиться в том, что он пел любовные песни, полные пламенного восхваления красоты, столь щедро расточаемого восточными поэтами; это никак не гармонировало с его серьезными и благочестивыми мыслями, сосредоточенными на созерцании пустыни великого искушения. Вопреки заповедям своей веры, сарацин начал также петь песни, восхвалявшие вино, этот влажный рубин персидских поэтов, и веселость его стала в конце концов настолько противной чувствам, одолевшим рыцаря-христианина, что если бы не клятва в дружбе, которой они сегодня обменялись, сэр Кеннет, несомненно, заставил бы своего спутника петь совсем иные песни. Крестоносцу казалось, что его сопровождает веселый, беспутный демон, старающийся его обольстить, угрожая его вечному спасению, вселяя в него вольные мысли о земных благах и оскверняя его набожность, – ведь верующая душа христианина и обет пилигрима призывали его к самым серьезным и покаянным помыслам. Он пришел в недоумение и не знал, как ему поступить. С запальчивостью и негодованием он наконец, нарушив молчание, прервал песню знаменитого Рудаки\*, в которой тот воспевает родинку на груди своей возлюбленной, предпочитая ее всем сокровищам Бухары и Самарканда.

– Сарацин, – сурово воскликнул крестоносец, – ты ослеп и погряз в заблуждениях своей ложной веры, но ты должен понять, что есть на земле места более священные, чем другие; а есть и такие, где дьявол получает еще больше власти над грешными смертными. Я тебе не скажу, какие ужасные причины заставляют считать это место, эти скалы и пещеры с их мрачными сводами, как бы ведущие в преисподнюю, излюбленным обиталищем Сатаны и падших анге-

лов. Скажу тебе только, что мудрые и святые люди, которым хорошо известны эти проклятые места, давно уже предупреждали меня, чтобы я избегал их. Поэтому, сарацин, воздержись от своего неразумного легкомыслия, так не вовремя проявленного, и обрати свои мысли в другую сторону, помышляя об этих местах, хотя, увы, твои молитвенные воздыхания обращены лишь в сторону греха и богохульства.

Сарацин выслушал все это с некоторым удивлением и затем ответил со свойственным ему добродушием и непринужденностью, несколько умеренными требованиями вежливости:

– Добрый рыцарь Кеннет! Мне кажется, ты поступаешь несправедливо со своим товарищем, или, быть может, правила учтивости толкуются иначе у западных племен. Когда я видел, как ты поглощал свинину и пил вино, я не произнес никаких обидных слов и позволил тебе наслаждаться твоим пиршеством: ведь вы, христиане, относите это к вашей христианской свободе; я лишь в глубине души жалел о столь недостойном препровождении времени. Почему же ты протестуешь, когда я, как могу, стараюсь скрасить этот мрачный путь веселыми песнями? Как сказал поэт: «Песня – это небесная роса, павшая на лоно пустыни; она освежает путь странника!»

– Друг мой сарацин, – сказал христианин, – я не осуждаю твою склонность к песне и веселью, хотя мы часто и уделяем им слишком много места в наших мыслях и забываем о вещах более достойных. Молитвы и святые псалмы, а не любовные или заздравные песни подобает петь странникам, путь которых лежит через Долину смерти, населенную демонами и злыми духами. Ведь молитвы святых заставили их покинуть людские селения, чтобы скитаться в проклятых Богом местах.

– Не говори так о духах, христианин, – отвечал сарацин. – Знай, что ты говоришь о том, кто принадлежит к племени, происходящему от этого бессмертного рода, а ваша секта боится и прокликает его.

– Я так и думал, – отвечал крестоносец, – что твоя слепая раса происходит от этих нечистых демонов: ведь без их помощи вам не удалось бы удержать в своих руках святую землю Палестины против такого количества доблестной Божьей рати. Мои слова относятся не только лично к тебе, сарацин, я говорю вообще о твоём племени и религии. И странным мне кажется не то, что ты произошёл от нечистых духов, но что ты ещё и кичишься этим.

– Как же храбрейшим не хвалиться происхождением от того, кто храбрее всех? – сказал сарацин. – От кого же самому гордому племени вести свою родословную, как не от духа тьмы, который скорее пал бы в борьбе, чем преклонил колени добровольно. Эблиса\* можно ненавидеть, чужестранец, но его нужно бояться, и Эблису подобны его потомки из Курдистана.

Сказки о магии и колдовстве в те времена заменяли науку, и Кеннет доверчиво и без особого удивления слушал признание своего попутчика о его дьявольском происхождении. Однако он испытывал какую-то тайную дрожь, находясь в этих мрачных местах в обществе того, кто открыто признавался в своём ужасном родстве и гордился им. От рождения не знавший чувства страха, он все же перекрестился. Сарацин же Кеннет настойчиво попросил рассказать о своей родословной, которой он так похвалялся, и тот с готовностью согласился.

– Да будет тебе известно, смелый чужестранец, – сказал он, – что когда жестокий Зоухак\*, один из потомков Джамшида, овладел тронem Персии, он заключил союз с силами тьмы в тайных подземельях Истакара\*, которые были высечены духами в первобытных скалах ещё задолго до появления Адама. Здесь жертвенной человеческой кровью он ежедневно поил двух кровожадных змей, и, по свидетельству многих поэтов, они стали как бы частью его собственного тела. Чтобы поддержать жизнь змей, он приказал каждый день приносить им в жертву людей. Наконец терпение его подданных иссякло, и они, взявшись за оружие, подняли восстание, подобно храброму Кузнецу и непобедимому Фериду\* . Тиранин был ими свергнут с трона и навсегда заключен в мрачные пещеры горы Демавенд. Однако перед тем, как произошло это освобождение, и в то время, как власть кровожадного тирана дошла до предела, шайка

его рабов, которых он послал добыть жертвы для своих ежедневных жертвоприношений, привела к сводам дворца Истакара семь сестер такой красоты, что они походили на семь гурий. То были дочери одного мудреца; у него не было никаких сокровищ, кроме этих красавиц и своей собственной мудрости. Но последней было недостаточно, чтобы предвидеть это несчастье, а первые были не в состоянии предотвратить его. Старшей из его дочерей не минуло еще двадцати лет, младшей – едва тринадцать. Они были так похожи друг на друга, что их можно было различить лишь по росту: когда они стояли рядом, по старшинству, одна немного выше другой, то это походило на лестницу, ведущую к воротам рая. Стоя перед мрачными сводами, эти семь сестер, одетые лишь в белые шелковые хитоны, были так прекрасны, что чары их тронули сердца бессмертных. Раздался гром, земля пошатнулась, стена раздвинулась, и появился юноша в одежде охотника, с луком и стрелами, за ним следовали шесть его братьев. Все они были рослые, красивые, хоть и смуглые, но глаза их светились неподвижным, холодным блеском, подобно глазам мертвецов: в них не было света, согревающего взгляд живых людей. «Зейнаб, – сказал их предводитель, взяв старшую за руку; его тихий голос звучал нежно и печально. – Я – Котроб, король подземного царства и властелин Джиннистана\*. Мы принадлежим к тем, кто создан из чистого, первозданного огня и кто с презрением отказался, даже вопреки воле всемогущего, склониться перед глыбой земли лишь потому, что ей было дано имя “Человек”. Ты, может быть, слышала о нас как о жестоких и неумолимых притеснителях? Это неверно. По природе мы храбры и великодушны, мы становимся мстительными только тогда, когда нас оскорбляют, и жестокими – когда на нас нападают. Мы храним верность тому, кто доверяет нам. Мы слышали мольбы твоего отца, мудреца Митраспа, который оказывает почести не только доброму началу, но и злumu. Ты и сестры твои – накануне гибели. Пусть каждая из вас в залог верности даст нам по одному волосу из своих светлых кос, и мы перенесем вас за много миль отсюда в укромное место, и там вы можете уже не страшиться Зоххака и его приспешников». «Боязнь скорой смерти, – сказал поэт, – подобна жезлу пророка Гаруна\*; обратясь в змею, этот жезл на глазах у фараона пожрал все другие жезлы, превратившиеся в змей». Дочери персидского мудреца, менее других подверженные боязни, не испугались, услышав эти слова духа. Они отдали ту дань, что у них просил Котроб, и в то же мгновение были перенесены в волшебный замок в горах Тугрута в Курдистане, и никто из смертных их больше не видел. Через некоторое время семеро юношей, отличившихся в войне и на охоте, появились в окрестностях замка демонов. Они были более смуглыми, более рослыми, более смелыми и более воинственными, чем жители селений в долинах Курдистана. Они взяли себе жен и стали родоначальниками семи курдистанских племен, доблесть которых известна всему миру.

С удивлением слушал рыцарь-христианин эту дикую легенду, которая еще донныне сохраняется в пределах Курдистана, затем, подумав немного, он ответил:

– Верно ты говоришь, мой рыцарь: твоя родословная может внушать ужас и ненависть, но ее нельзя презирать. Я больше не удивляюсь твоей упорной приверженности к ложной вере, унаследованной тобой от предков, этих жестоких охотников, как ты их описывал, которым свойственно любить ложь больше правды. Я больше не удивляюсь и тому, что вас охватывает восторг и вы поете песни при приближении к местам, где нашли себе прибежище злые духи. Это должно тебя волновать и вызывать чувство радости, подобное тому, какое многие испытывают, приближаясь к стране своих земных предков.

– Клянусь бородой моего отца, ты говоришь правду, – сказал сарацин, скорее забавляясь, чем обижаясь, услышав такие откровенные слова христианина. – Хотя пророк (да будет благословенно его имя!) и посеял в нас семена лучшей веры, чем та, какой учили нас предки в населенных духами мрачных убежищах Тугрута, мы не осуждаем, подобно другим мусульманам, тех могучих первобытных духов, от которых ведем наш род. Мы верим и надеемся, что эти духи осуждены неокончательно, но лишь проходят свое испытание и могут еще быть впоследствии наказаны или вознаграждены. Предоставим муллам и имамам судить об этом.

Нам довольно того, что почитание этих духов не отвергнуто учением Корана, и многие из нас еще воспевают старую веру наших отцов в таких стихах.

При этих словах он запел очень старое по складу и стиху песнопение, по преданию сочиненное почитателями злого духа Аримана\*:

Ариман  
Дух мрака, темный Ариман,  
Доныне для восточных стран  
Ты – злое божество.  
Склоняясь в капище твоём,  
Где в мире царство мы найдем  
Сильнее твоего?

Дух блага повелит – и вмиг  
Для путников пустынь родник  
Забрызжет из земли.  
А ты у неприступных скал  
Завихришь смерч, запенишь вал —  
И тонут корабли.

Бог повелел – и травы нам  
Дают целительный бальзам  
Для немощей людских,  
Но разве одолеть ему  
Горячку, язву и чуму —  
Отраву стрел твоих?

Ты властно в мысли к нам проник,  
И, что бы ни твердил язык  
Пред алтарем чужим,  
В толпе покорных прихожан  
Тебя, великий Ариман,  
Мы тайно в сердце чтим.

Ты преднамеренно ль жесток?  
Ты можешь ли, как мнит Восток,  
Знать, мыслить, ощущать?  
Плащом из туч окутать твердь,  
Раскинув крылья, сеять смерть,  
Клыками жертву рвать?

Иль просто ты – природы часть,  
Стихийная, немая власть,  
Которой нет преград?  
Иль, в сердце затаясь людском,  
Ты источаешь над добром  
Победоносный яд?

Так или нет, но ты один

И всех событий властелин  
И ощущений всех.  
Все, что живет в людских сердцах:  
Страсть, гнев, любовь, гордыню, страх —  
Ты превращаешь в грех.

Как только солнце поднялось  
Смягчить удел юдоли слез,  
Ты неизменно тут:  
Ты мигом скромный хлебный нож  
На острый меч перекуешь —  
Орудье грозных смут.

От первой жизненной черты  
До судорог предсмертных ты —  
Хозяин бытия.  
И можно ль знать нам, что за той,  
Дух тьмы, последнею чертой  
Исчезнет власть твоя?

Эта песня, может быть, и была плодом фантазии какого-нибудь полупросвещенного философа, который в этом сказочном божестве Аримане видел лишь преобладание духовного и телесного злого начала, на слух Кеннета это произвело иное впечатление: спетая тем, кто только что похвалялся своим происхождением от демонов, она звучала как похвала самому Сатане. Слыша такое богохульство в пустыне, где был побежден возгордившийся Сатана, он стал раздумывать, как ему поступить: достаточно ли будет лишь расстаться с этим сарацином, чтобы выразить свое возмущение, или, следуя обету крестоносца, он должен немедленно вызвать этого басурмана на поединок, оставив его труп в пустыне на съедение диким зверям? Но внезапно его внимание было отвлечено неожиданным происшествием.

Хотя наступали сумерки, рыцарь разглядел, что в этой пустыне они больше не одни: какое-то высокое и изможденное существо наблюдало за ними, ловко перескакивая через кусты и скалы. Вид этого волосатого дикаря напомнил ему фавнов и сильванов, изображения которых он видел в древних храмах Рима. И прямодушный шотландец, ни на минуту не сомневавшийся в том, что боги этих древних язычников действительно являются демонами, сразу поверил, что богохульный гимн сарацина вызвал этого духа ада.

«Но что мне до того? – подумал про себя Кеннет. – Чтоб они сгинули, эти бесы и все их приспешники!»

Однако он не счел нужным бросить вызов двум противникам, что, несомненно, сделал бы, имея дело лишь с одним. Его рука все же коснулась булавы, и, может быть, неосторожный сарацин поплатился бы за свою персидскую легенду – он без всякой видимой причины тут же разнес бы сарацину череп. Но судьба уберегла шотландского рыцаря от поступка, который мог опорочить его оружие. Видение, за которым он некоторое время наблюдал, сначала следовало за ними, прячась за скалы и кусты, проворно преодолевая все препятствия и ловко используя любую возможность, чтобы укрыться от их взоров. Но в ту минуту, когда сарацин прервал свое пение, призрак этот, оказавшийся высоким человеком, одетым в козью шкуру, выскочил на середину тропы и вцепился обеими руками в узду коня сарацина, заставив его круто осадить назад. Благородный конь, не выдержав внезапного нападения незнакомца, схватившего его за удила и мундштук, состоявший, по восточному обычаю, из толстого железного кольца, взвился

на дыбы и опрокинулся назад, упав на своего хозяина, которому все же удалось избежать гибели, оттолкнувшись от него при падении.

Затем нападающий, бросив коня, быстро обхватил обеими руками шею всадника, навалился на отбивающегося сарацина и, несмотря на его юность и ловкость, прижал к земле. Пленник сердито, но в то же время полусмеясь закричал:

– Хамако, дурак ты этакий, отпусти меня! Как ты смеешь! Отпусти, или я заколю тебя кинжалом!

– Кинжалом? Собака ты неверная, – сказал человек в козьей шкуре. – Удержи его в своей руке, коли можешь! – И в одно мгновение он выхватил кинжал из рук сарацина и взмахнул им над головой.

– На помощь, назарянин! – закричал Шееркоф, не на шутку испугавшись. – Ведь Хамако заколет меня!

– И стоило бы заколоть! – отвечал житель пустыни. – Разве ты не заслуживаешь смерти за твои богохульные гимны, которые ты тут распеваешь, восхваляя не только своего лжепророка – предвестника дьявола, но и самого Сатану!

Рыцарь-христианин все еще в изумлении смотрел на эту странную сцену – столь неожиданным было это внезапное нападение. Наконец он почувствовал, что долг повелевает ему вмешаться и прийти на помощь своему побежденному спутнику; и он обратился к победителю в козьей шкуре со следующими словами.

– Кто бы ты ни был, – сказал он, – приверженец ли добрых или злых духов, знай, что я поклялся быть верным товарищем сарацину, которого ты держишь под собой. Поэтому, прошу тебя, дай ему встать, иначе я вступлюсь за него.

– Хорош бы ты был, крестоносец, – ответил Хамако, – сражаясь с человеком своей святой веры из-за какой-то некрещеной собаки. Разве ты пришел в эту пустыню сражаться против креста и защищать полумесяц? Хорош ты, воин Господень, слушающий тех, кто воспевают Сатану!

Говоря это, он все же встал, позволив сарацину подняться, и возвратил ему кинжал.

– Ты видишь, к каким опасностям тебя привела твоя гордыня, – продолжал человек в козьей шкуре, обращаясь к Шееркофу, – и с какими ничтожными средствами можно одолеть твою хваленую ловкость и силу, если на то будет воля Господня! Берегись же, Ильдерим, и знай, что если бы в звезде, под которой ты родился, не было отблеска, предвещающего тебе что-то хорошее и угодное небу, я не отпустил бы тебя, пока не перерезал бы глотку, из которой только что извергались эти богохульства.

– Хамако, – спокойно сказал сарацин, не обращая внимания ни на его грубые слова, ни на еще более яростное нападение, которому он подвергся. – Прошу тебя, добрый Хамако, будь осторожнее и не пытайся снова злоупотреблять своим нравом. Хотя я, мусульманин, и уважаю тех, у кого небо отняло разум, чтобы одарить их духом пророчества, я не потерплю, чтобы кто-либо схватил за узду моего коня или задел меня самого. Говори что хочешь и будь уверен – я не обижусь на тебя. Но образумься и пойми, что, если ты еще раз попытаешься напасть на меня, я снесу твою косматую голову с твоих тощих плеч. Тебе же, друг мой Кеннет, я должен сказать, – добавил он, садясь на своего коня, – что в пустыне я предпочел бы получить от своего попутчика дружескую помощь, чем слушать его высокопарные речи. Довольно я их от тебя наслушался, и было бы лучше, если бы ты мне помог в схватке с этим Хамако, который в своем бешенстве чуть не прикончил меня.

– Клянусь честью, – сказал рыцарь, – я действительно виноват в том, что немного запоздал со своей помощью. Но все произошло так внезапно и твой противник выглядел так странно. Сначала я подумал, что твоя дикая и нечестивая песня вызвала дьявола, который встал между нами. Я так был ошеломлен, что прошло две-три минуты, прежде чем я взялся за оружие.

– Вижу, что ты холодный и рассудительный друг, – сказал сарацин. – Будь Хамако более яростен, твой товарищ был бы убит у тебя на глазах к твоему вечному позору А ты и пальцем не пошевелил, чтобы мне помочь, оставаясь на коне во всем вооружении.

– Даю тебе слово, сарацин, – сказал христианин, – и сознаюсь откровенно, я принял это странное существо за дьявола, и, поскольку он должен был, как мне казалось, принадлежать к твоему племени, я не мог догадаться, какие там семейные тайны могли вы сообщать друг другу, катаясь на песке в дружеских объятиях.

– Твоя насмешка не ответ, брат Кеннет, – сказал сарацин. – Будь нападавший на меня самим князем тьмы, ты тем не менее обязан был вступить с ним в бой, выручая своего товарища. Знай также: что бы ни говорилось о Хамако дурного и злого, он больше сродни твоему племени, чем моему. По правде сказать, этот Хамако на самом деле и есть тот отшельник, которого ты намерен был навестить.

– Этот? – воскликнул Кеннет, бросив взгляд на стоявшую перед ним атлетическую, но несколько изнуренную фигуру. – Это он? Да ты смеешься надо мной, сарацин! Этот не может быть почтенным Теодориком!

– Спроси его самого, если не веришь мне, – отвечал Шееркоф. Но только он успел сказать это, как отшельник сам заговорил о себе.

– Я – Теодорик Энгаддийский, – сказал он, – отшельник этой пустыни. Я друг креста и бич неверных, еретиков и поклонников Сатаны. Беги, беги от них! Пусть сгинут Магунд\*, Термагант\* и иже присные! – С этими словами он вытащил из-под своей лохматой одежды что-то похожее на цеп или окованную железом дубинку, которой он очень проворно стал размахивать над головой.

– Полюбуйся на своего святого, – сказал сарацин, впервые рассмеявшись и видя неподдельное удивление, с которым Кеннет смотрел на дикую жестикуляцию Теодорика и слушал его угрюмое бормотание. Помахав дубинкой и, видимо, совершенно не беспокоясь о том, что он может задеть за головы стоящих рядом, отшельник показал наконец свою собственную силу и крепость своего оружия, ударив по лежащему вблизи камню и разбив его на куски.

– Это сумасшедший! – сказал Кеннет.

– Не хуже других святых, – возразил мусульманин, разумея известное на Востоке поверье о том, что сумасшедшие действуют под влиянием мгновенного наития. – Знай, христианин, что когда один глаз выколот, другой делается более зорким, а когда одна рука отрезана, другая делается более сильной. Так и когда разум наш, обращенный к делам людским, помрачен, проясняется наш взор, обращенный к небу.

Тут голос сарацина был заглушен голосом отшельника, который дико стал выкрикивать нараспев:

– Я – Теодорик Энгаддийский, я – светоч в пустыне, я – бич неверных! И лев и леопард станут моими друзьями и будут укрываться в моей келье, козы не будут бояться их когтей. Я – светильник и факел! Господи помилуй!

Он закончил свои причитания и, сделав три прыжка, ринулся вперед. Эти прыжки получили бы, пожалуй, хорошую оценку в школе гимнастики, но все это настолько не вязалось с его ролью отшельника, что шотландский рыцарь пришел в полное недоумение.

Казалось, сарацин понимал его лучше.

– Видишь, – сказал он, – Теодорик ждет, чтобы мы последовали за ним в его келью: ведь только там мы сможем найти ночлег. Ты – леопард, как видно по изображению на твоём щите, я – лев, как и говорит мое имя, а коза, судя по его наряду из козьей шкуры, – это он сам. Однако не надо терять его из виду: ведь он бежит как верблюд.

Эта задача оказалась нелегкой, хотя досточтимый проводник иногда и останавливался и махал рукой, как бы поощряя их следовать за ним. Хорошо знакомый со всеми лоцинами и проходами и обладая необычайной подвижностью, свойственной людям с помраченным рас-

судком, он вел всадников по таким тропинкам и крутизнам, что даже легковооруженный сарацин со своим испытанным арабским скакуном подвергался постоянному риску, а закованный в броню европеец и его обремененный тяжелыми доспехами конь каждое мгновение смотрели в лицо такой опасности, что рыцарь предпочел бы очутиться на поле битвы, чем продолжать это путешествие. После этой дикой скачки он с облегчением увидел святого человека, их проводника, стоящего перед входом в пещеру с большим факелом в руке – куском дерева, пропитанным горной смолой, который озарял все окружающее мерцающим светом, издавая сильный серный запах.

Не обращая внимания на удушливый дым, рыцарь слез с коня и вошел в пещеру, довольно скудно обставленную. Келья была разделена на две части. В передней части стояли каменный алтарь и распятие из тростника: она служила отшельнику часовней. После некоторого колебания, вызванного благоговением перед окружающими его святынями, рыцарь-христианин привязал своего коня в противоположном углу пещеры и расседлал его, устроив ему ночлег: он следовал примеру сарацина, который дал ему понять, что таков был местный обычай. Отшельник тем временем занялся приведением в порядок внутренней половины для приема гостей, которые скоро к нему присоединились. В глубине первой половины узкий проход, прикрытый простой доской, вел в спальню отшельника, обставленную немного лучше. Поверхность пола трудами хозяина была выровнена и посыпана белым песком; он его ежедневно поливал из небольшого родника, который бил из расщелины скалы в одном углу. В таком жарком климате это давало прохладу, ласкало слух и утоляло жажду. Циновки из сплетенных водорослей лежали по бокам. Стены, как и пол, также были обтесаны и увешаны травами и цветами. Две восковые свечи, зажженные отшельником, придавали привлекательный и уютный вид этому жилищу, напоенному благоуханиями и прохладой.

В одном углу лежали инструменты для работы, в другом была ниша с грубо высеченной из камня статуей Богородицы. Стол и два стула говорили о ручной работе отшельника, ибо отличались своей формой от восточных образцов. На столе лежали не только тростник и овощи, но и куски вяленого мяса, которые Теодорик старательно разложил как бы для того, чтобы вызвать аппетит своих гостей. Подобные признаки внимания, хоть молчаливые и выраженные лишь жестами, в глазах Кеннета совсем не вязались с бурными и дикими выходками отшельника, свидетелем которых он только что был. Движения отшельника стали спокойными, а черты его лица, изможденные аскетическим образом жизни, можно было бы назвать величественными и благородными, если бы на них не было отпечатка религиозного смирения. Его поступь указывала на то, что он был рожден властвовать над людьми, но отказался от власти, чтобы стать служителем неба. Нужно признать, что гигантский рост, длинные косматые волосы и борода и огонь свирепых впалых глаз придавали ему облик скорее воина, чем отшельника.

Даже сарацин, казалось, стал относиться к отшельнику с некоторым уважением; пока тот был занят приготовлением трапезы, он прошептал Кеннету:

– Хамако теперь в лучшем настроении, однако он не будет с нами разговаривать, пока мы не покончим с едой: таков его обет.

Теодорик молча указал шотландцу его место на низком стуле, Шееркоф, по обычаю своего племени, расположился на циновке. Отшельник поднял обе руки, как бы благословляя еду, которую разложил перед гостями, и они приступили к трапезе, сохраняя такое же глубокое молчание, как и их хозяин. Для сарацина эта суровая молчаливость была привычной, и христианин следовал его примеру, раздумывая о странности своего положения и о контрасте между дикими, свирепыми выходками и криками Теодорика при их первой встрече и его смиренным, чинным, молчаливым и благопристойным поведением и усердием, какое он выказал в роли гостеприимного хозяина.

Когда с едой было покончено, отшельник, сам не притронувшийся к пище, убрал со стола остатки и поставил перед сарацином кувшин с шербетом, а шотландцу подал флягу с вином.

– Пейте, дети мои, – сказал он; то были первые слова, что он произнес, – вкушайте дары Божьи, вспоминая Его.

Сказав это, он удалился во внешнюю половину кельи, вероятно для молитвы, оставив гостей во внутренней половине. Тем временем Кеннет всячески пытался выведать от Шееркофа, что тот знал об их хозяине; побуждало его к этому не только простое любопытство. Нелегко было сочетать буйство и воинственный пыл отшельника при первом появлении с его кротким и скромным поведением в дальнейшем. Но еще труднее было примирить это с тем исключительным уважением, которым, насколько было известно Кеннету, отшельник пользовался в глазах самых просвещенных богословов христианского мира. Теодорик, энгаддийский отшельник, вел переписку со многими духовными лицами и даже соборами епископов. В своих письмах, полных пылкою красноречия, он описывал те несчастья и невзгоды, какие претерпевали латинские христиане на Святой земле, гонимые неверными, и письма эти по своей выразительности не уступали проповедям Петра Пустынника на Клермонском соборе\*, когда он призывал к первому Крестовому походу. И когда христианский рыцарь увидел, как этот столь высокочтимый старец бесновался, словно безумный факир, он невольно призадумался – можно ли посвятить его в важные дела, доверенные ему вождами Крестовых походов.

Одна из главных целей паломничества Кеннета, предпринятого таким необычайным путем, заключалась именно в том, чтобы передать ему это важное послание. Однако то, что он увидел сегодня ночью, заставило его призадуматься, прежде чем приступить к выполнению своей миссии. От эмира он не мог получить много сведений; все же главнейшие сводились к следующему. По слухам, отшельник был когда-то храбрым и доблестным воином, мудрым в советах и счастливым в битвах: последнему легко можно было поверить, видя ту силу и ловкость, которые он часто проявлял. Он прибыл в Иерусалим не как странник: он решил остаться в Святой земле до конца дней своих. Вскоре он окончательно поселился в этой безлюдной пустыне, в которой они теперь нашли его. Латиняне уважали отшельника за его аскетическую жизнь и преданность вере, а турки и арабы – за случавшиеся с ним припадки сумасшествия, которые они принимали за религиозный экстаз. От них же он получил кличку Хамако, что означает на турецком языке «вдохновенный безумец». Шееркоф, по-видимому, сам затруднялся, к какой категории людей следует отнести их хозяина. Он говорил, что отшельник – человек мудрый, что он часами мог произносить проповеди о добродетели и мудрости и никогда не заговаривался. Временами, однако, он становился свирепым и буйным; все же он никогда еще не видел его в таком бешенстве, в каком он предстал перед ними в этот день; по его словам, он впадал в такое бешенство, как только оскорбляли его религию. Сарацин поведал о том, как однажды странствующие арабы подвергли оскорблению его веру и разрушили его алтарь; он напал на этих арабов и убил их своей короткой дубинкой, заменявшей ему всякое другое оружие. Это событие наделало много шума, а страх перед окованной дубинкой отшельника и уважение к его особе заставили кочевников относиться с почтением к его жилищу и часовне. Слава о нем разнеслась так далеко, что Саладин издал даже особый приказ о том, чтобы его оберегали и защищали. Он сам и многие знатные мусульмане не раз посещали его келью, отчасти из любопытства, отчасти ожидая от этого ученого христианина Хамако откровений и предсказаний будущего.

– На большой высоте, – продолжал сарацин, – он построил башню вроде тех, что строят звездочеты, чтобы наблюдать за небесными светилами и планетами, ибо как христиане, так и мусульмане верят в то, что по их движению можно предсказать все события на земле и их предупредить.

Таковы были сведения, какими располагал эмир Шееркоф. У Кеннета они вызвали некоторое сомнение: он не мог решить, происходило ли подобное умопомешательство отшельника

от чрезмерного религиозного рвения или это было просто притворством, при помощи которого он хотел обеспечить себе неприкосновенность. Видно было, однако, что неверные проявляли к нему очень большую терпимость, принимая во внимание фанатизм последователей Мухаммеда, среди которых жил он, заклятый враг их веры. Кеннету казалось, что между отшельником и сарацином существовало более близкое знакомство, чем это можно было заключить из слов последнего. От него не ускользнуло и то, что отшельник называл сарацина не тем именем, которое тот сам назвал рыцарю. Все эти соображения подсказывали ему если не подозрительность, то, во всяком случае, осторожность. Он решил зорко наблюдать за своим хозяином и не спешить с исполнением своего важного поручения.

– Берегись, сарацин, – сказал он, – мне сдается, что путает он также и имена, не говоря уже о других вещах. Ведь тебя зовут Шееркоф, а он только что называл тебя другим именем.

– Дома, в отцовском шатре, – отвечал курд, – меня звали Ильдерим, и многие знают меня под этим именем. В походах и среди воинов мне дали прозвище Горный Лев: меч мой завоевал это имя. Но тише! Вот идет Хамако сказать нам, чтобы мы легли отдыхать. Я знаю его обычай: никто не имеет права смотреть, как он молится.

Отшельник действительно вошел в келью, скрестил руки на груди и торжественно сказал:

– Да будет благословенно имя Того, кто ниспослал тихую ночь после трудового дня и покойный сон, чтобы дать отдых усталому телу и успокоить встревоженную душу!

Оба воина ответили: «Аминь» и, встав из-за стола, приготовились лечь в постели, на которые им хозяин указал мановением руки. Поклонясь каждому из них, он снова вышел из кельи.

Рыцарь Леопарда начал снимать с себя тяжелые доспехи. Сарацин любезно помог ему снять щит и отстегнуть застежки, пока он не остался в замшевой одежде, которую рыцари носили под своими панцирями. Сарацин, прежде восхищавшийся силой своего противника, закованного в броню, был не меньше поражен стройностью его мускулистой и хорошо сложенной фигуры. В свою очередь рыцарь в ответ на любезность помог сарацину снять верхнюю одежду, чтобы ему было удобнее спать. Он также удивлялся, как такое тонкое и гибкое тело могло гармонировать с той силой и ловкостью, какие тот выказал в их схватке.

Каждый из них, прежде чем лечь, помолился. Мусульманин повернулся лицом к кебле, то есть к тому месту, куда каждый верующий в пророка должен возносить молитвы, и стал шептать слова языческих молитв. Христианин же, удалившись от нечестивого соседства неверного, водрузил перед собой свой меч с крестообразной рукоятью и, став перед ним на колени как перед символом спасения, начал перебирать четки с рвением, усиленным воспоминаниями о событиях минувшего дня и об опасностях, которых ему удалось избежать. Оба воина, утомленные трудной и длинной дорогой, каждый на своем соломенном ложе, вскоре уснули крепким сном.

## Глава IV

Шотландец Кеннет не знал, сколько времени он был погружен в глубокий сон, когда он очнулся с ощущением, будто кто-то давит ему на грудь. Сначала ему казалось, что во сне он сражается с каким-то могучим противником, потом он окончательно проснулся. Он хотел было спросить, кто это, как вдруг, открыв глаза, увидел отшельника все с тем же свирепым выражением лица, как уже было сказано выше. Правую руку он положил ему на грудь, а левой держал небольшую серебряную лампаду.

– Тише! – сказал отшельник, видя удивление рыцаря. – Мне надо тебе сказать нечто такое, чего не должен слышать этот неверный.

Эти слова он произнес по-французски, а не на лингва-франка – той смеси западного и восточного наречий, на котором они до этого изъяснялись.

– Встань, – продолжал он, – накинь плащ и молча следуй за мной. – (Кеннет встал и взял свой меч.) – Он не понадобится тебе, – шепотом сказал отшельник. – Мы идем туда, где важнее всего духовное оружие, а телесное столь же излишне, как тростник или прогнившая тыква.

Рыцарь положил меч на прежнее место у постели и, вооружившись лишь кинжалом, с которым он в этой опасной стране никогда не расставался, приготовился следовать за своим таинственным хозяином.

Отшельник медленно двинулся вперед. За ним шел рыцарь, недоумевая, не была ли эта фигура, показывающая ему дорогу, призраком, привидевшимся ему во сне. Как тени, перешли они в наружную часть хижины отшельника, не потревожив спящего эмира. Перед распятием и алтарем еще горела лампада и лежал раскрытый молитвенник, а на полу валялась веревочная плетень, переплетенная проволокой. На ней виднелись пятна крови: это свидетельствовало о суровой епитимье, которой отшельник подвергал себя. Теодорик встал на колени и велел рыцарю опуститься около себя на острые камни: по-видимому, они должны были сделать молитвенное бдение менее удобным. Он прочел несколько католических молитв и пропел тихим, но проникновенным голосом три покаянных псалма. Последние сопровождалась вздохами, слезами и судорожными стонами – видимо, он глубоко переживал читаемое. Шотландский рыцарь с глубоким сочувствием наблюдал за этими подвигами благочестия. Его мнение о старце начало понемногу меняться: он спрашивал себя, не следует ли ему, видя всю суровость епитимьи и тот пыл, с которым отшельник молился, счесть его за святого. Когда они поднялись, он почтительно склонил голову, как ученик перед чтимым наставником. В течение нескольких минут отшельник молча стоял около него, погруженный в размышления.

– Посмотри туда, сын мой, – сказал он, указывая на дальний угол кельи. – Там ты найдешь покрывало; принеси его сюда.

Рыцарь повиновался. В небольшой нише, высеченной в стене и прикрытой дверью, сплетенной из прутьев, он нашел требуемое покрывало. Поднеся его к свету, он заметил, что оно изорвано и покрыто темными пятнами. Отшельник с еле скрываемым волнением посмотрел на него, хотел что-то сказать, но судорожный стон сдавил ему горло. Наконец он произнес:

– Ты увидишь сейчас величайшее сокровище, каким когда-либо обладал мир. Горе мне! Глаза мои недостойны смотреть на него. Увы! Я, грубый и презренный, только вежа, которая указывает усталому путнику мирный приют, но я сам не смею туда войти. Напрасно я удалился в самую глубину скал и в самое сердце иссушенной пустыни. Мой враг нашел меня: тот, от кого я отрезся, преследовал меня до моей твердыни.

Он опять замолк на минуту, но потом, обернувшись к шотландскому рыцарю, спросил более твердым голосом:

– Ты привез мне привет от Ричарда, короля Англии?

– Я послан Советом христианских монархов, – сказал рыцарь. – Король Англии заболел, и я не был удостоен чести передать личное послание его величества.

– Твой пароль? – спросил отшельник.

Кеннет колебался: прежние подозрения и признаки сумасшествия, недавно выказанные отшельником, вдруг пришли ему на ум. Но как подозревать в чем-то человека, у которого был такой святой облик?

– Мой пароль, – произнес он наконец, – «Короли просили милостыни у нищего».

– Верно, – сказал отшельник, помолчав. – Я хорошо тебя знаю: но часовой на посту (а мой пост очень важен) должен окликнуть друга, так же как и врага.

Затем он пошел вперед со светильником, указывая дорогу в келью, которую они только что оставили. Сарацин все еще сладко спал. Отшельник остановился у постели и посмотрел на него.

– Он спит во тьме, – сказал он, – и не надо его будить.

И действительно, поза эмира говорила о полнейшем покое. Он полуобернулся к стене, и широкий и длинный рукав прикрывал большую часть лица. Виден был лишь широкий лоб. Черты его лица, столь подвижные, когда он бодрствовал, теперь как бы застыли. Лицо казалось высеченным из темного мрамора, и длинные шелковистые ресницы закрывали его пронзительные, ястребиные глаза. Откиннутая рука и глубокое, мерное дыхание говорили о крепком сне. Все это представляло собой весьма выразительную картину: спящий эмир – и худая высокая фигура отшельника в мохнатой козьей шкуре, держащего в руке светильник, с мрачным, аскетическим лицом, и рыцарь в замшевом камзоле с выражением тревожного любопытства на мужественном лице.

– Он крепко спит, – сказал отшельник, повторив слова так же глухо, как и раньше; лишь интонация голоса была иная, как бы придающая словам особое, скрытое значение. – Он спит во мраке, но и для него наступят светлые дни. Ах, Ильдерим, мысли твои, когда ты бодрствуешь, так же суетны и безумны, как и сновидения, вихрем кружащиеся в твоём спящем мозгу. Но раздастся звук трубы, и сны исчезнут.

Сказав это и сделав рыцарю знак следовать за собой, отшельник подошел к алтарю и, обойдя его, нажал на пружину. Бесшумно растворилась железная дверца, вделанная в стенку пещеры; ее едва можно было разглядеть. Прежде чем настезь открыть дверцу, он накапал масла из светильника на петли. Когда дверца открылась, можно было разглядеть узкую лесенку, высеченную в скале.

– Возьми покрывало, – с грустью сказал отшельник, – и завяжи мне глаза. Я не должен смотреть на сокровище, которое ты сейчас увидишь, чтобы не поддаться греховной гордыне.

Рыцарь молча закрыл голову отшельника покрывалом, и последний начал подниматься по лестнице. Он, по-видимому, уже так хорошо знал этот путь, что ему не нужен был свет. Светильник он передал шотландцу, который следовал за ним по узкой лестнице вверх. Наконец они остановились на небольшой площадке несимметричной формы. В одном ее углу лесенка заканчивалась, а в другом виднелись дальнейшие ступеньки. В третьем углу была готическая дверь с очень грубыми украшениями в виде обычных колонн и резьбы. Эта дверь была защищена калиткой, окованной толстым железом и обитой большими гвоздями. К ней отшельник и направился; казалось, чем ближе подходил он к двери, тем нерешительнее становилась его поступь.

– Сними обувь, – сказал он своему спутнику. – Место, на котором ты стоишь, священо. Изгони из самых сокровенных тайников своего сердца все нечестивые и плотские помыслы: предаваться им в этом месте – смертный грех!

Рыцарь снял башмаки и отложил их в сторону, как ему было сказано. Отшельник тем временем стоял, погруженный в молитву. Затем, пройдя еще несколько шагов, он приказал рыцарю постучать в дверь три раза. Дверь открылась сама собой: во всяком случае, Кеннет

никого не видел. Его ослепил луч яркого света, и он почувствовал сильный, почти дурманящий аромат дивных благовоний. Резкая перемена от мрака к свету заставила его сначала отступить на два-три шага.

Вступив в помещение, сплошь залитое ярким светом, Кеннет заметил, что он исходил от множества серебряных лампад, наполненных чистым маслом и издающих острый аромат. Они висели на серебряных же цепочках, прикрепленных к потолку небольшой готической часовни, высеченной, как и большая часть этой странной кельи отшельника, в твердой скале. Но в то время как во всех других помещениях применялся обычный труд каменотесов, в этой часовне чувствовался резец самых искусных зодчих. Крестовые своды с каждой стороны поддерживали шесть колонн, высеченных с редким искусством. Соединения и пересечения этих вогнутых арок, украшенные орнаментами, отличались тончайшими расцветками, какие только могла дать архитектура того времени. Против каждой колонны были высечены шесть богато украшенных ниш, в каждой нише – статуя одного из двенадцати апостолов.

На возвышении с восточной стороны стоял алтарь. За алтарем расшитый золотом роскошный занавес из персидского шелка закрывал нишу, хранящую, очевидно, изображение или реликвию святого, в честь которого была воздвигнута эта небольшая часовня. Погруженный в благочестивые мысли, рыцарь приблизился к святыне и, став на колени, ревностно повторил слова молитвы. Но тут внимание его привлек занавес: чья-то невидимая рука распахнула его. В открывшейся нише он увидел раку из черного дерева и серебра с двустворчатými дверцами, напоминающую готический храм в миниатюре. В то время как он с любопытством разглядывал священную реликвию, двустворчатые дверцы тоже распахнулись, и он увидел большой кусок дерева, на котором была надпись «Vera Crux»<sup>7</sup>. В то же время хор женских голосов запел гимн «Gloria Patri»<sup>8</sup>. Когда окончилось пение, рака закрылась и занавес снова задернулся. Рыцарь, коленопреклоненный перед престолом, мог теперь спокойно продолжать молиться, воздавая хвалу святой реликвии, которая открылась его взору. Он предался молитвам, глубоко потрясенный этим величественным доказательством истины своей религии. Через некоторое время, закончив молитву, он поднялся и осмотрелся, ища глазами отшельника, который привел его к этому святому и загадочному месту. Он вскоре увидел его; голова старца все еще была закрыта покрывалом, которым он сам его прикрыл, и он лежал распростертый, как загнанная гончая, у порога часовни, видимо и не пытаясь его перейти. Весь его облик выражал строгое благоговение и искреннее покаяние, как будто человек этот был повержен на землю и пал под бременем своих страданий. Шотландцу казалось, что лишь чувство глубочайшего раскаяния, угрызения совести и смирение могли повергнуть ниц это мощное тело и эту пламенную душу.

Рыцарь приблизился к нему, как бы желая заговорить, но отшельник предупредил его, что-то бормоча из-под покрывала, которое окутывало его голову: «Подожди! Подожди! О, как ты счастлив! Видение еще не кончилось!» Голос его прозвучал как бы из-под савана покойника. Он поднялся, отошел от порога, где до этого лежал, и закрыл дверь часовни на пружинный засов. Стук этот глухо отдался по всей часовне. Дверь стала почти невидимой, слившись со скалой, в которой была высечена пещера, так что Кеннет едва мог различить, где находился выход. Он теперь остался один в освещенной часовне, хранившей в себе реликвию, которой он только что поклонялся. У него не было оружия, кроме кинжала, и он остался наедине со своими благочестивыми мыслями и отвагой.

Не зная, что может произойти дальше, но с твердым намерением перенести все, что бы с ним ни случилось, Кеннет в полном одиночестве стал ходить взад и вперед по часовне. Так продолжалось почти до пения первых петухов. В тишине, когда ночь встречается с утром, он услышал откуда-то нежный звон серебряного колокольчика, в который звонят во время возно-

<sup>7</sup> «Истинный крест» (лат.).

<sup>8</sup> «Слава Отцу» (лат.).

шения Даров на литургии. В этот час и в таком месте звон этот показался ему необыкновенно торжественным. Несмотря на свою неустрашимость, рыцарь отошел в дальний угол часовни, против алтаря, откуда он мог наблюдать за зрелищем, которое должно было последовать за этим сигналом.

Ему не пришлось долго ждать – шелковый занавес опять раздвинулся, и реликвия вновь представилась его взору. Благоговейно преклонив колени, он услышал мелодию хвалебных гимнов, которые поются в католической церкви во время литургии. Их пел хор женских голосов, который он уже слышал раньше. Рыцарь мог различить, что хор не стоял на месте, а приближался к часовне: пение становилось все громче. Внезапно на другом конце часовни открылась потайная дверь вроде той, через которую он сам вошел, и мощные звуки ворвались под стрельчатые своды.

Затаив дыхание, все еще стоя на коленях в молитвенной позе, подобающей этому священному месту, рыцарь стал всматриваться в открытую дверь и ожидать событий, которые должны были последовать за этими приготовлениями. Процессия приближалась к двери. Сперва появились четыре красивых мальчика; они шли парами, шея, руки и ноги их были обнажены; бронзовая кожа резко выделялась на фоне белоснежных туник. Первая пара размахивала кадилами, это усиливало аромат, которым уже была полна часовня. Вторая пара разбрасывала цветы.

За ними в строгом порядке величественной поступью шли девушки, которые составляли хор. Шесть из них, судя по черным наплечникам и покрывалам, накинутым на белые одеяния, принадлежали к монахиням кармелитского ордена\*. Шесть с белыми покрывалами были или послушницами, или случайными обитательницами монастыря, еще не связанными обетом и не принявшими постриг. В руках первых были крупные четки. Остальные, более молодые, несли по букету белых и красных роз. Они шли вокруг часовни, казалось не обращая никакого внимания на Кеннета, хоть и проходили так близко, что их одежды почти касались его.

Слушая это пение, рыцарь решил, что находится в одном из тех монастырей, где в старину знатные христианские девушки открыто посвящали себя служению церкви. Большинство из них было закрыто, когда мусульмане вновь покорили Палестину, однако многие монастыри получили право на существование; задабривая власти подарками и всячески стараясь снискать их расположение, они все еще продолжали тайно соблюдать обряды, к которым их обязал данный ими обет. Однако, хотя Кеннет и сознавал, что все это происходит на самом деле, торжественная обстановка, неожиданное появление этих девственниц и их призрачное шествие так подействовали на его воображение, что ему трудно было представить, что эта процессия состояла из земных созданий, – так напоминали они хор сверхъестественных существ, прославляющих святыню, которой поклонялся весь мир.

Таковы были мысли рыцаря, когда процессия проходила мимо него, медленно двигаясь вперед. При этом неземном, мистическом свете, который лампы распространяли сквозь фимиам, слегка затуманивший часовню, монахини, казалось, не шли, а лишь тихо скользили по полу.

Проходя по часовне во второй раз мимо того места, где преклонил колени Кеннет, одна из девушек в белом одеянии, скользя мимо него, оторвала бутон розы из своей гирлянды и, может быть нечаянно, уронила к его ногам. Рыцарь вздрогнул, как будто пронзенный стрелой: когда разум напряжен до крайних пределов в ожидании чего-то, всякая неожиданность воспламеняет и без того уже возбужденное воображение. Однако он подавил волнение, говоря себе, что тут простая случайность и эпизод этот показался ему необычным только благодаря тому, что нарушил монотонность движения монахинь.

Однако, когда процессия начала в третий раз обходить вокруг часовни, его взгляд и мысли неотступно следовали за той послушницей, которая уронила бутон розы. Нельзя было заметить каких-нибудь особых черт в ее облике: ее походка, лицо и фигура ничем решительно

не отличали ее от других. Тем не менее сердце Кеннета забилося, как пойманная птица, рвущаяся из клетки, как бы желая внушить ему, что послушница во втором ряду справа дороже для него не только всех присутствующих, но и вообще всех женщин на свете. Романтическая любовь, столь дорогая рыцарскому духу, прекрасно уживалась с не менее романтическими религиозными чувствами, и эти чувства не только не мешали друг другу, но скорее даже усиливали одно другое. И он испытывал светлую радость волнующего ожидания, граничащего с религиозным экстазом, когда ждал вторичного знака со стороны той, которая, как он твердо верил, бросила ему розу; его охватила дрожь, пробежав от груди до кончиков пальцев. Хоть и немного времени понадобилось процессии, чтобы совершить третий круг, но время это показалось ему вечностью! Наконец та, за которой он следил с таким благоговейным вниманием, приблизилась к нему. Эта девушка в белом одеянии ничем не отличалась от других девушек, плавно двигавшихся в той же самой процессии. Но когда она в третий раз проходила мимо коленопреклоненного крестоносца, прелестная ручка, говорящая о столь же совершенном телосложении той, кому она принадлежала, мелькнула среди складок покрывала, словно лунный луч летней ночью сквозь серебристое облако, и опять бутон розы лег к ногам рыцаря Леопарда.

Этот второй знак не мог быть случайностью, не могло быть случайным и сходство этой промелькнувшей перед его взором прекрасной женской руки с той, которой однажды коснулись его уста. Целуя ее, он поклялся в верности ее прекрасной обладательнице. И если бы потребовалось еще одно доказательство, то этим доказательством было сверкание несравненного рубинового кольца на белоснежном пальце. Но для Кеннета малейшее движение этого пальца было бы дороже самого драгоценного перстня. Может быть, он случайно увидит непокорный локон темных кос, хоть и прикрытых покрывалом, каждый волосок которых был ему в сто раз дороже цепи из массивного золота. Да, то была дама его сердца! Но неужели она здесь, в далекой, дикой пустыне, среди девственниц, живущих в этих диких местах и пещерах, чтобы тайно выполнять христианские обряды, не смея никому их показывать, неужели он видит все это наяву, а не во сне – все было слишком неправдоподобно, было лишь обманом, сказкой! В то время как эти мысли проносились в голове Кеннета, процессия медленно уходила в двери, через которые она вошла в часовню. Молодые иноки и монахини в своем черном одеянии прошли в открытую дверь. Наконец и та, от которой он дважды получил знаки внимания, тоже прошла мимо, но, проходя, хотя слегка, но все же заметно повернула голову в ту сторону, где он стоял как изваяние. Последнее колебание складок ее покрывала – и все исчезло! Мрак, непроницаемый мрак объял его душу и тело. Как только последняя монахиня перешагнула через порог и дверь с шумом захлопнулась, голоса поющих монахинь смолкли, огни в часовне сразу же погасли и Кеннет остался во тьме один. Но одиночество, мрак и непонятная таинственность происходящего – все это было ничто, не этим были заняты его мысли. Все это было ничто в сравнении с призрачным видением, которое только что проскользнуло мимо него, и знаками внимания, которыми он был награжден. Ощупать пол в поисках бутонов, которые она уронила, прижать к губам, то каждый порознь, то вместе; припасть губами к холодным камням, по которым ступала ее нога, предаться сумасбродным поступкам, порожденным сильными чувствами, которыми иногда охвачены люди, – все это доказательство и следствие страстной любви, свойственной любому возрасту. В те романтические времена охваченный любовным экстазом рыцарь не мог и помышлять о том, чтобы следовать за предметом своего обожания. Она была для него божеством, которое удостоило показаться на мгновение своему преданному почитателю, чтобы вновь исчезнуть во мраке своего святилища, подобно тому как яркая звезда, блеснув на мгновение, вновь окутывается мглой. Все действия, все поступки его дамы сердца были в его глазах деяниями высшего существа, за которым он не смел следовать. Она радовала его своим появлением или огорчала своим отсутствием, воодушевляла своей добротой или приводила в отчаяние своей жестокостью, повинуюсь лишь собственным жела-

ниям. А он подвигами стремился превознести ее славу, посвятив служению своей избраннице преданное сердце и меч рыцаря и видя цель своей жизни в исполнении ее приказаний.

Таковы были законы рыцарства и той любви, которая была его путеводной звездой. Но преданность Кеннета получила романтический оттенок по другим и совершенно особым причинам. Он никогда даже не слышал голоса своей дамы сердца, хотя часто с восхищением любовался ее красотой. Она вращалась в кругу, к которому он по своему положению мог лишь приблизиться, но в который не мог войти. Хоть и высоко ценились его воинское искусство и храбрость, все же бедный шотландский воин принужден был лишь издали поклоняться своему божеству, на таком расстоянии, какое отделяет перса от солнца, которому он поклоняется. Но разве гордость женщины, как бы высокомерна она ни была, способна скрыть от ее взора страстное обожание поклонника, на какой бы низкой ступени он ни стоял? Она наблюдала за ним на турнирах, она слышала, как прославляли его в рассказах о ежедневных битвах. И хотя ее благосклонности добивались графы, герцоги и лорды, ее сердце, быть может, против ее желаний или даже бессознательно стремилось к бедному рыцарю Спящего Леопарда, который для поддержания своего достоинства не имел ничего, кроме своего меча. Когда она смотрела на него и прислушивалась к тому, что о нем говорили, любовь, тайком прокрадываясь в ее сердце, становилась все сильнее. Если красота какого-нибудь рыцаря составляла предмет восхищения, то даже многие самые щепетильные дамы английского двора отдавали предпочтение шотландцу Кеннету. Часто случалось, что, несмотря на очень значительные щедрые дары, которыми вельможи оделяли менестрелей, такого певца охватывало вдохновение, просыпался дух независимости, и арфа воспевала героизм того, кто не имел ни красивого коня, ни пышных одежд, чтобы наградить прославлявшего его певца.

Те минуты, в которые благородная Эдит внимала прославлениям своего возлюбленного, становились для нее все более дорогими, помогая забыть лести, слушать которую ей так надоело, и в то же время давая ей пищу для тайных размышлений о том, кто, по общему признанию, был достойнее других, превосходивших его богатством и знатностью. По мере того как внимание ее постепенно привлекал Кеннет, она все больше и больше убеждалась в его преданности и начала верить, что шотландец Кеннет предназначен ей судьбой, чтобы делить с ней в горе и в радости (а будущее казалось ей мрачным и полным опасностей) страстную любовь, которой поэты того времени приписывали такую беспредельную власть, а мораль и обычаи ставили наряду с благочестием.

Не будем скрывать правду от читателей. Когда Эдит отдала себе отчет в своих чувствах, так же носящих рыцарский отпечаток, как и подобало девушке, близко стоящей к английскому трону, хотя ее гордости льстили непрестанные, пусть даже молчаливые проявления поклонения со стороны избранного ею рыцаря, были моменты, когда ее чувства любящей и любимой женщины начинали роптать против ограничений придворного этикета и когда она готова была осуждать робость своего возлюбленного, который, по-видимому, не решался его нарушать. Этикет (употребляя современное выражение), налагаемый происхождением и рангом, очертил вокруг нее какой-то магический круг, за пределами которого Кеннет мог поклоняться и любоваться ею, но который он не имел права преступить, подобно тому как вызванный дух не может преступить границу, начертанную магической палочкой могущественного волшебника. Невольно у нее зародилась мысль, что она сама должна преступить порог недозволенного хотя бы кончиком своей прелестной ножки; она надеялась, что сможет придать храбрости своему сдержанному и робкому поклоннику, если в знак своей благосклонности позволит ему коснуться устами бантика на ее туфельке. Тому уже был пример в лице «дочери венгерского короля»\*, которая таким способом ободрила одного «оруженосца низкого происхождения». Эдит, хоть и королевской крови, все же не была королевской дочерью. Ее возлюбленный также не был низкого происхождения, так что судьба не ставила таких преград для их чувств. Однако какое-то смутное чувство в сердце девушки (вероятно, скромность, налагающая оковы даже на

любовь) запрещало ей, несмотря на преимущества ее положения, сделать первый шаг, который, согласно правилам вежливости, принадлежит мужчине. Кроме того, Кеннет был в ее представлении рыцарем столь благородным, столь деликатным, столь благовоспитанным во всем, что касалось выражения чувств к ней, что, несмотря на сдержанность, с которой она принимала его поклонение, как божество, равнодушное к обожанию своих поклонников, кумир все же не решался слишком рано сойти с пьедестала, чтобы не унизиться в глазах своего преданного почитателя.

Однако преданный обожатель настоящего идола может найти знаки одобрения даже в суровых и неподвижных чертах лица мраморной статуи. Нет ничего удивительного в том, что в светлых, прекрасных глазах Эдит отразилось нечто такое, что можно было отнести к проявлению ее благосклонности. Красота ее заключалась не столько в правильных чертах или цвете лица, сколько в необычайной его выразительности. Несмотря на свою ревнивую бдительность, она все же чем-то проявила свое расположение. Иначе как бы мог Кеннет так быстро и с такой уверенностью распознать ее красивую руку, лишь два пальца которой виднелись из-под покрывала? Или как он с такой уверенностью мог бы утверждать, что оба оброненных ею цветка означали, что возлюбленная его узнала? Мы не беремся указать, благодаря каким приметам, по каким скрытым признакам, взглядам, жестам или инстинктивным знакам любви установилось взаимопонимание между Эдит и ее возлюбленным: ведь мы уже стары, и неприметные следы привязанности, быстро улавливаемые молодыми глазами, ускользают от нашего взора. Достаточно сказать, что такое чувство зародилось между двумя людьми, которые никогда не обменялись ни единым словом, хотя у Эдит это чувство сдерживалось сознанием больших трудностей и опасностей, которые неизбежно должны были встретиться на их пути. А рыцарь должен был испытывать тысячи страхов и сомнений, боясь переоценить значение даже самых ничтожных знаков внимания его дамы сердца; они неминуемо чередовались с продолжительными периодами известной холодности с ее стороны. Причина тому крылась в боязни вызвать толки и этим подвергнуть опасности своего поклонника или выказать слишком большую готовность быть побежденной и потерять его уважение. Все это заставляло ее временами выказывать безразличие и как бы не замечать его присутствия.

Это повествование, может быть, несколько утомительно, но оно необходимо, ибо должно объяснить внутреннюю близость между влюбленными (если здесь можно употребить это слово) в тот момент, когда неожиданное появление Эдит в часовне произвело столь сильное впечатление на рыцаря.

## Глава V

*Напрасно призраки толпой  
Летят в наш лагерь боевой...  
Мы остановим их полет:  
Прочь, Термагант! Прочь, Астарот!*

*Уортон\**

Глубокая тишина и полный мрак царили в часовне больше часа. Рыцарь Леопарда все еще стоял на коленях и возносил благодарственные молитвы, мысленно благодаря свою даму сердца за милость, которая была ему оказана. Мысль о собственной безопасности, о собственной судьбе, о чем он никогда особенно не беспокоился, стала сейчас легче пылинки. Он находился рядом с леди Эдит, он получил доказательства ее благоволения; он находился в месте, увенчанном самыми священными реликвиями. Христианин-воин, преданный любовник, он не мог больше ничего бояться, не мог ни о чем думать, кроме своего долга перед Богом и служения даме сердца.

По прошествии часа вдруг раздался резкий свист, похожий на свист охотника, приманивающего сокола. Звук этот не очень гармонировал со святостью места и напомнил Кеннету, что он должен всегда быть начеку.

Он быстро поднялся с колен и схватился за рукоять кинжала. Затем послышался скрип каких-то винтов или блоков; яркий луч света озарил часовню снизу, указывая на то, что в полу открылась потайная дверь. Меньше чем через минуту из этого отверстия показалась полуобнаженная костлявая рука, прикрытая рукавом из красной парчи. Она высоко держала светильник. Человек, которому принадлежала эта рука, шаг за шагом поднялся по лестнице до уровня пола часовни. Появившееся существо оказалось безобразным карликом с огромной головой и причудливо разукрашенным колпаком с тремя павлиньими перьями. Его платье из яркой парчи, богатый убор, который еще больше подчеркивал его уродство, было украшено золотыми нарукавниками и браслетами; к белому шелковому поясу был пристегнут кинжал с золотой рукоятью. В левой руке это странное существо держало нечто вроде метлы. Некоторое время оно стояло не двигаясь и, вероятно, чтобы лучше показать себя, стало медленно водить перед собой светильником, освещая свирепые и причудливые черты лица и уродливое мускулистое тело. Однако при всем своем безобразии карлик не производил впечатления калеки. При виде этого уroda Кеннету припомнилось поверье о гномах или подземных духах, жителях подземных пещер. Внешность карлика до такой степени соответствовала его представлению об этих созданиях, что он смотрел на него с отвращением, к которому примешивался не страх, а тот благоговейный ужас, какой охватывает даже самых смелых в присутствии сверхъестественного существа.

Карлик снова свистнул, вызывая еще кого-то из подземелья. Второе существо появилось так же, как и первое. Но на этот раз это была женская рука, державшая светильник над подземельем, из которого она поднималась, и из-под пола медленно появилась женщина, телосложением очень напоминавшая карлика; она медленно выходила из отверстия в полу. Ее платье было тоже из красной парчи, с оборками и причудливо скроенное, будто она нарядилась для пантомимы или каких-то фокусов. Неторопливо, как и ее предшественник, она поднесла светильник к лицу и телу, которое могло бы поспорить в уродстве с карликом. С непривлекательным наружным видом связывалась одна общая для обоих особенность, которая предупреждала, что их надо весьма остерегаться. Поражал какой-то особенный блеск их глаз, глубоко

сидящих под нависшими густыми бровями; подобно блеску в глазах жабы, он до некоторой степени сглаживал их ужасную уродливость.

Кеннет стоял как зачарованный, пока эта уродливая пара, двигаясь рядом, не начала подметать часовню, исполняя как бы роль уборщиков. Пол от этого чище не становился, ибо они работали лишь одной рукой, как-то странно ею жестикулируя. Это вполне соответствовало их фантастической наружности. Они постепенно приблизились к рыцарю и перестали мести. Став против Кеннета, они медленно подняли светильники, чтобы он мог лучше рассмотреть их лица, не ставшие вблизи более привлекательными, и чтобы он мог видеть необычайно яркий блеск их черных глаз, отражавших свет лампад. Затем они навели свет на рыцаря и, подозрительно посмотрев на него, а потом друг на друга, разразились громким, воющим смехом, который звонко отдался в его ушах. Смех этот был настолько ужасен, что Кеннет содрогнулся и поспешно спросил их, во имя неба, кто они и как смеют осквернять это святое место своими кривляньями и выкриками.

– Я – карлик Нектабанус, – ответил уродец голосом, вполне подходящим к его фигуре и похожим больше на пронзительный крик какой-то ночной птицы; такой звук в дневное время не услышишь.

– А я – Геневра\*, дама его сердца, – ответила женщина еще более пронзительно и дико.

– Зачем вы здесь? – спросил опять рыцарь, не вполне уверенный, действительно ли он видит человеческие существа.

– Я двенадцатый имам, – отвечал карлик с напускной важностью и достоинством. Я – Мухаммед Мохади, вождь правоверных. Сто оседланных коней стоят наготове для меня и моей свиты в святом городе и столько же – в городе спасения. Я – тот, который свидетельствует о пророке, а это одна из моих гурий.

– Ты лжешь, – отвечала карлица, обрывая его тоном еще более пронзительным. – Совсем я не твоя гурия, да и ты совсем не тот оборвыш Мухаммед, о котором ты говоришь. Да будет проклят его гроб! Говорю тебе, иссахарский осел, ты Артур, король Британии, которого феи похитили с Авалонского поля. А я – Геневра, прославленная своей красотой.

– Сказать по правде, благородный сэр, – сказал карлик, – мы обнищавшие монархи, жившие под крылышком короля Гвидо Иерусалимского\* до тех пор, пока он не был изгнан из своего гнезда погаными язычниками, да поразят их громы небесные!

– Тише! – послышался голос со стороны двери, в которую вошел рыцарь. – Тише, дураки, убирайтесь вон! Ваша работа кончена!

Услышав это приказание, карлики сейчас же погасили свои светильники и, что-то нашептывая друг другу, оставили рыцаря в полном мраке, к которому, как только в отдалении замерли их шаги, присоединилась его верная спутница – мертвая тишина.

С уходом этих злосчастных созданий рыцарь почувствовал облегчение. Их речь, манеры и внешность не оставляли ни малейшего сомнения в том, что они принадлежали к числу тех несчастных, которые из-за своего уродства и слабоумия становились как бы жалкими нахлебниками в больших семействах, где их внешность и глупость давали пищу для насмешек всем домочадцам.

Шотландский рыцарь был по своему образу мыслей несколько не выше своей эпохи, а потому в другое время мог бы позабавиться маскарадом этих жалких подобий человека. Однако теперь их появление, жестикуляция и речь прервали его глубокие размышления, и он искренне порадовался исчезновению этих злополучных созданий.

Через несколько минут после их ухода дверь, в которую вошел рыцарь, тихонько приоткрылась и пропустила слабый луч света от фонаря, поставленного на порог. Этот неверный, мигающий огонек слабо озарял темную фигуру у порога. Подойдя ближе, Кеннет узнал отшельника, остановившегося в той же самой униженной позе, в какой он находился с самого начала, в то время как его гость оставался в часовне.

– Все кончено, – сказал отшельник, услышав шаги рыцаря, – и самый недостойный из всех грешников должен покинуть это место вместе с тем, кто может считать себя счастливейшим из смертных. Возьми светильник и проводи меня вниз: я только тогда могу развязать глаза, когда буду далеко от этого святого места.

Шотландский рыцарь молча повиновался; торжественность и глубокое значение всего, что он видел, заставили его пересилить свое любопытство. Он уверенно шел вперед по потайным коридорам и лестницам, по которым они только что поднялись, пока не очутились во внешней келье пещеры отшельника.

– Осужденный преступник возвращен в свое подземелье. Здесь он влачит свое существование изо дня в день до той поры, пока его страшный судия не повелит свершить над ним заслуженный приговор.

Произнося эти слова, отшельник откинул покрывало, которым были завязаны его глаза, посмотрел на рыцаря с подавленным вздохом и положил покрывало обратно в нишу, откуда раньше его вынул шотландец; затем он торопливо и строго сказал своему спутнику:

– Иди, иди, отдохни, отдохни! Ты можешь, ты должен уснуть, а я не могу и не смею.

Повинуясь взволнованному тону, с каким это было сказано, рыцарь удалился во внутреннюю келью. Однако, обернувшись при выходе из наружной пещеры, он увидел, как отшельник с неистовой поспешностью срывал с себя козью шкуру, и, прежде чем тот успел прикрыть тонкую дверь, разделявшую обе половины пещеры, Кеннет услышал удары плетью и стоны кающегося под самобичеванием. Холодная дрожь пробежала по телу рыцаря, когда он подумал о том, как ужасен должен быть совершенный отшельником грех и какие глубокие угрызения совести он должен был испытывать. Даже такая суровая епитимья не могла ни искупить этот грех, ни успокоить угрызения совести. Он помолился, перебирая четки. Взглянув на все еще спящего мусульманина, он бросился на свою жесткую постель и заснул сном ребенка, утомленный дневными и ночными приключениями. Проснувшись утром, он побеседовал с отшельником о некоторых важных делах, причем выяснилось, что он должен остаться в пещере еще дня на два. Как и подобает пилигриму, он добросовестно предавался молитве, но никогда больше не получил доступа в часовню, где видел столько чудес.

## Глава VI

*Смените декорации – пусть трубы*

*Звучат, чтоб льва из логовища выгнать.*

### *Старинная пьеса*

Как было сказано, действие теперь должно перенестись в другое место: из диких пустынных гор Иордана – в стан Ричарда, короля Англии. Тогда он находился между Аккрой и Аскалоном\* с армией, с которой Львиное Сердце решил выступить и идти триумфальным маршем на Иерусалим. Вероятно, он и преуспел бы в этом, если бы ему не помешала зависть христианских рыцарей, участвовавших в походе; мешало этому и необузданное высокомерие английского монарха и его явное презрение к своим собратьям-властелинам. Хотя они и считали себя равными ему, они значительно уступали ему в смелости, неустрашимости и военном искусстве. Эти раздоры, в особенности между Ричардом и Филиппом\*, королем Франции, влекли за собой пререкания и создавали недоразумения и преграды, которые препятствовали всем начинаниям смелого, но пылкого Ричарда. А ряды крестоносцев редели с каждым днем, и не только из-за дезертирства, но и потому, что целые отряды, возглавляемые феодалами, решили больше не принимать участия в походе, в успех которого они перестали верить.

Как и следовало ожидать, непривычный климат оказался губительным для северных воинов, тем более что распущенное поведение крестоносцев, противоречащее их принципам и целям войны, еще легче делало их жертвами палящей жары и холодной росы. Помимо болезней значительный урон наносил им меч неприятеля. Саладин, величайшее имя, самый прославленный из полководцев в истории Востока, узнал по горькому опыту, что его легковооруженные всадники не были способны в рукопашном бою противостоять закованным в латы франкам; в то же время ему внушал ужас отважный характер его противника Ричарда. Но если его армии и были не раз разбиты в больших сражениях, численность его войск давала сарацину преимущество в мелких схватках, столь частых в этой войне.

По мере того как уменьшалась наступающая армия, численность войск султана увеличивалась; они становились смелее, все чаще прибегая к партизанской войне. Лагерь крестоносцев был окружен и почти осажден лавинами легкой кавалерии, напоминающими осиные рои, – их легко уничтожить, когда они пойманы, но у каждой осы есть крылья, чтобы ускользнуть от более сильного противника, и жало, чтобы причинить ему боль. Происходили постоянные безрезультатные стычки передовых постов и фуражиров, которые стоили жизни не одному храброму воину, перехватывались обозы, перерезывались пути сообщения. Средства для поддержания жизни крестоносцам приходилось покупать ценой самой жизни. А вода, подобно воде Вифлеемского источника, предмету вожеления одного из древних вифлеемских монархов – царя Давида\*, как и раньше, покупалась лишь ценою крови.

В большинстве случаев непреклонная решимость и неутомимая энергия короля Ричарда спасали крестоносцев от поражения. Вместе со своими лучшими рыцарями он всегда был на коне, готовый ринуться туда, где была наибольшая опасность. Он не только часто оказывал неожиданную помощь христианам, но и наносил поражения и расстраивал ряды мусульман в тот момент, когда они уже были уверены в победе. Но даже железное здоровье Львиного Сердца не могло безнаказанно выдержать перемен этого губительного климата при таком умственном и физическом напряжении. Его поразила одна из изнурительных и ползучих лихорадок, столь характерных для азиатских стран. Несмотря на большую силу и еще большее мужество, он уже не мог сесть на коня. Позднее он уже не мог и посещать военные советы, временами созываемые крестоносцами. И когда военный совет принял решение заключить с султаном Саладином перемирие на тридцать дней, трудно сказать, почувствовал ли английский монарх облег-

чение или его вынужденное бездействие стало для него еще более нестерпимым. И если, с одной стороны, неизбежная задержка в осуществлении великой миссии крестоносцев приводила Ричарда в ярость, с другой – его немного успокаивала мысль, что и остальные его соратники, в то время как он оставался прикованным к постели, тоже не пожнут лавров.

Меньше всего Львиное Сердце мог примириться с общим бездействием, которое наступило в стане крестоносцев, как только болезнь его приняла серьезный характер. Из ответов своих приближенных, которые они весьма неохотно давали на его настойчивые расспросы, он понимал, что по мере усиления его болезни гасли и надежды среди воинов. Для него было ясно, что перемирие это было заключено не в целях пополнить войско, поднять его дух и укрепить волю к победе, не для того, чтобы сделать необходимые приготовления для быстрого и решительного наступления на священный город, что являлось целью всего похода, но чтобы укрепить лагерь, занятый все уменьшающимся числом его последователей, при помощи рвов, палисадов и других укреплений. Все эти приготовления делались скорее с целью отражения атаки сильного противника, атаки, которой следовало ожидать, как только военные действия возобновятся, нежели для победоносного наступления гордых завоевателей.

Получая такие донесения, английский король приходил в сильное раздражение, подобно пойманному льву, взирающему на добычу сквозь железные прутья своей клетки. Пылкий и опрометчивый по натуре, он становился жертвой своей собственной раздражительности. Он внушал страх своим приближенным, и даже его лекари не решались пользоваться властью, которую врач должен проявлять по отношению к своему пациенту для его же блага. Лишь один барон из всего его окружения, быть может благодаря сходству своего характера с характером короля, был слепо предан ему. Он один отваживался становиться между драконом и его яростью и спокойно, но решительно подчинял своей власти грозного больного, чего не осмелился бы сделать никто другой. Томас де Малтон поступал так потому, что жизнь и честь своего повелителя он ценил выше, чем его милость, не обращая внимания на риск, которому мог бы подвергнуться, ухаживая за столь упрямым пациентом, нерасположение которого было всегда чревато последствиями.

Томас, лорд Гилсленд из Камберленда, в те времена, когда прозвища и титулы не жаловали по заслугам, как теперь, был прозван норманнами лордом де Во, а англосаксы, верные своему родному языку и гордившиеся тем, что в жилах этого прославленного воина текла англосаксонская кровь, звали его Томасом, или просто Томом из Гилла, либо Томом из Узких Долин – по названию его обширных поместий.

Этот воин принимал участие почти во всех войнах, которые возникали между Англией и Шотландией, а также во всех ратных распрях, раздиравших тогда страну. Он отличался своим военным искусством и храбростью. В остальном же это был грубый солдат с небрежными, резкими манерами, молчаливый и даже угрюмый в обществе, не признававший ни правил вежливости, ни этикета. Находились, правда, люди, считавшие себя глубокими знатоками человеческой души, которые утверждали, что де Во не только резок и смел, но также хитер и честолюбив. Они утверждали, что он подражает смелой, но грубоватой натуре самого короля, чтобы снискать его благоволение и осуществить свои честолюбивые планы. Однако никто не стремился перечить его планам, если они вообще существовали, и соперничать с ним в его опасном занятии. Де Во каждый день проводил у постели больного, болезнь которого считали заразной. Из приближенных за это никто не брался, памятуя, что больной был не кто другой, как Львиное Сердце: ведь его одолевало бешеное нетерпение воина, которого не пускают в бой, или властелина, временно лишённого власти. Рядовой же воин (по крайней мере английской армии) думал, что де Во ухаживает за королем лишь по-товарищески, с тем честным и бескорыстным прямодушием солдатской дружбы, какое устанавливается между людьми, ежедневно подвергающимися общей опасности.

Однажды, когда южный день уже клонился к вечеру, Ричард лежал прикованный к своей постели, истомленный докучливой болезнью, терзавшей его душу и тело. Его ясные голубые глаза, всегда сиявшие необыкновенной пронизательностью и блеском, казались еще более живыми из-за этой лихорадки и скрытого нетерпения. Они сверкали из-под длинных выющихся локонов его светлых волос, как последние лучи солнца сквозь тучи надвигающейся грозы, позолоченные этими лучами. Изнурительная болезнь оставила следы на его мужественном лице. Его всклокоченная борода закрывала губы и подбородок. То ворочаясь с боку на бок, то хватаясь за покрывало, то сбрасывая его, лежал он на своей измятой постели; его беспокойные жесты указывали одновременно на энергию и еле сдерживаемое нетерпение человека, привыкшего к кипучей деятельности.

Около постели стоял Томас де Во; вид и поза его являли полный контраст с обликом страдающего монарха. Своим гигантским ростом и гривой волос он напоминал Самсона, правда лишь после того, как локоны этого израильского богатыря были острижены филистимлянами, чтобы их можно было удобнее носить под шлемом. Блеск его больших карих глаз напоминал рассвет осеннего утра, взгляд их только тогда выражал беспокойство, когда его внимание привлекали бурные вспышки нетерпения Ричарда. Его крупные, как и вся фигура, черты лица можно было бы назвать красивыми, если бы они не были обезображены шрамами. По норманнскому обычаю, верхнюю губу закрывали темные усы, слегка тронутые сединой: длинные и густые, они доходили до висков. Видно было, что он легко переносил усталость и жаркий климат. Он был худощав, у него была широкая грудь и длинные мускулистые руки. Он уже три ночи подряд не снимал свою кожаную куртку с крестообразными разрезами на плечах, пользуясь лишь теми моментами отдыха, какие урывками мог себе позволить, охраняя покой больного монарха. Барон лишь изредка делал движение, чтобы подать Ричарду лекарство или питье, которое никто из приближенных не сумел бы убедить его проглотить. Было что-то трогательное в том, как он любовно, хотя довольно неуклюже, исполнял свои обязанности, столь чуждые его грубым солдатским привычкам и манерам.

Шатер, в котором они находились, в соответствии с духом того времени и характером самого Ричарда отличался не столько королевской роскошью, сколько обилием принадлежностей воинского ремесла. Повсюду было развешано оружие, как наступательное, так и оборонительное, иногда странной формы и, как видно, нового образца. Шкуры зверей, убитых на охоте, покрывали пол и украшали стены шатра. На одной груди этих лесных трофеев лежали три больших белоснежных алана, как их тогда называли, то есть борзых самой крупной породы. Морды их со шрамами от когтей и клыков как бы указывали на то, что они участвовали в добычании трофеев, на которых лежали. Потягиваясь и зевая, они изредка поглядывали на постель Ричарда, как бы выказывая ему свою преданность и жалуясь на вынужденное бездействие. То были соратники короля – солдата и охотника. На маленьком столе у постели лежал чеканный щит из кованой стали треугольной формы с изображением трех идущих львов – герб, впервые присвоенный королем-рыцарем. Перед ним лежал золотой обруч, напоминавший герцогскую корону, только спереди он был выше, чем сзади. Вместе с пурпурной бархатной расшитой тиарой он был символом английского владычества. Около него, как бы наготове для защиты этой королевской эмблемы, лежала тяжелая секира, которую вряд ли смогла бы поднять рука какого-либо воина, кроме Львиного Сердца.

В другой половине шатра находились два-три офицера королевской внутренней службы. Вид у них был подавленный: они были встревожены состоянием здоровья повелителя, а равно и своей судьбой в случае его кончины. Их мрачные опасения как бы передавались наружным часовым, шагавшим кругом в молчаливом раздумье или неподвижно стоявшим на постах, опираясь на свои алебарды; они были похожи скорее на каких-то вооруженных кукол, чем на живых воинов.

– Значит, у тебя нет добрых вестей для меня, сэра Томас? – сказал король после длительного и тревожного молчания, снедаемый лихорадочным волнением, которое мы пытались описать. – Все наши рыцари обратились в баб, наши дамы стали монахинями, и нигде не видно ни искры мужества, ни доблести, ни храбрости, чтобы оживить наш стан, в котором собран цвет европейского рыцарства.

– Перемирие, государь, – сказал де Во с терпением, с которым он уже двадцать раз повторял эту фразу, – перемирие мешает нам действовать как подобает воинам. Как известно вашему величеству, я не поклонник пиров и разгула и нечасто склонен менять сталь и кожу на бархат и золото. Но, насколько я знаю, наши милые красавицы отправились с ее королевским величеством и принцессами в паломничество в Энгаддийский монастырь, чтобы исполнить обет и помолиться об избавлении вашего величества от болезни.

– А разве, – сказал Ричард с видимым раздражением и гневом, – наши почтенные дамы и девушки могут подвергать себя такому риску, отправляясь в страну, оскверненную этими собаками, у которых так же мало правды для людей, как и веры в Бога?

– Но ведь Саладин поручился за их безопасность, – возразил де Во.

– Верно, верно, – отвечал Ричард, – я несправедлив к этому султану-язычнику – я у него в долгу. Если бы только Бог дал мне возможность сразиться с ним на глазах и христиан и язычников!

С этими словами Ричард вытянул правую руку, обнаженную до плеча, и, с трудом приподнявшись на постели, потряс сжатым кулаком, как будто сжимал рукоять меча или секиры, размахивая им над украшенным драгоценностями тюрбаном султана. Де Во пришлось прибегнуть к силе. Этому король не снес бы ни от кого другого, но де Во, выполняя роль сиделки, заставил своего властелина лечь обратно в постель и укрыл его мускулистую руку, шею и плечи так же заботливо, как мать укладывает нетерпеливого ребенка.

– Ты добрая, хоть и грубая нянька, де Во, – сказал король с горьким смехом, уступая силе, которой не мог противостоять. – Думаю, что чепчик кормилицы подошел бы к твоему угрюмому лицу, как мне – детский капор. При виде такого младенца и такой няньки все девушки разбежались бы в страхе.

– В свое время мы наводили страх на мужчин, – сказал де Во, – и думаю, что еще проживем, чтобы снова внушить им ужас. Приступ лихорадки – это пустяки; надо лишь иметь терпение, чтобы от него избавиться.

– Приступ лихорадки! – воскликнул Ричард, вспыхнув. – Ты прав, меня одолел приступ лихорадки. А что же случилось со всеми остальными христианскими монархами – с Филиппом Французским, с этим глупым австрийцем\*, с маркизом Монсерратским\*, с рыцарями госпитальеров, с тамплиерами?\* Что с ними со всеми? Так знай же: это застойный паралич, летаргический сон, болезнь, которая отняла у них речь и способность действовать, – какой-то червь, который вгрызается в сердце всего, что есть благородного, рыцарского и доблестного. И это сделало их лживыми даже в выполнении рыцарского обета и заставило пренебречь своей славой и забыть Бога.

– Ради всего святого, ваше величество, – сказал де Во, – не принимайте это близко к сердцу. Здесь ведь нет дверей, и вас услышат; а такие речи уже можно услышать и среди воинов; это вносит ссоры и распри в христианское войско. Не забывайте, что ваша болезнь теперь главная пружина их начинаний. Скорее баллиста будет стрелять без винта и рычага, чем христианское войско – без короля Ричарда.

– Ты льстишь мне, де Во, – сказал Ричард: он все же не был безразличен к похвалам. Он опустил голову на подушку с намерением отдохнуть, более решительным, чем выказывал до сих пор. Однако Томас де Во не принадлежал к числу льстивых царедворцев: эта фраза как-то случайно сорвалась у него с языка. Он не сумел продолжать разговор на столь приятную тему, чтобы продлить созданное им хорошее настроение, и замолк. Король, опять впадая в

мрачные размышления, резко сказал: – Боже мой! Ведь это сказано только для того, чтобы успокоить больного. Разве подобает союзу монархов, объединению дворянства, собранию всего рыцарства Европы падать духом из-за болезни одного человека, хотя бы и короля Англии? Почему болезнь Ричарда или его смерть должна остановить наступление тридцати тысяч таких же смельчаков, как он сам? Когда олень-вожак убит, стадо ведь не разбегается. Когда сокол убьет журавля-вожака, другой продолжает вести стаю. Почему державы не соберутся, чтобы избрать кого-нибудь, кому они могут доверить руководство войском?

– Это верно. Но если вашему величеству угодно знать, – сказал де Во, – то я слышал, что по этому поводу уже были встречи между королями.

– Ага! – воскликнул Ричард, и его честолюбие сразу проснулось, дав иное направление его раздражительности. – Я уже забыт союзниками прежде, чем принял последнее причастие? Они уже считают меня мертвым? Но нет, нет – они правы. А кого же они выбрали вождем христианского воинства?

– По чину и достоинству, – сказал де Во, – это король Франции.

– Вот оно что! – отвечал Ричард. – Филипп Французский и Наваррский, Дени Монжуа – его наихристианнейшее величество – все это пустые слова. Здесь, правда, может быть риск: он способен перепутать слова *en arriere* и *en avant*<sup>9</sup> и увести нас обратно в Париж, вместо того чтобы идти на Иерусалим. Этот политик уже заметил, что можно достигнуть большего, притесняя своих вассалов и обирая своих союзников, чем воюя с турками за Гроб Господень.

– Они могут также избрать эрцгерцога Австрийского, – сказал де Во.

– Как? Только потому, что он велик ростом, статен, как ты сам, Томас, и почти столь же тупоголов, но без твоего презрения к опасности и равнодушия к обидам? Говорю тебе, что во всей этой австрийской туше не больше смелости и решительности, чем у злобной осы или храброго кобчика. Вон его! Разве может он быть предводителем рыцарей и вести их к победе?

Дай ему лучше распить флягу рейнвейна вместе с его дармоедами и ландскнехтами.

– Есть еще гроссмейстер ордена тамплиеров, – продолжал барон, не жалея, что отвлек внимание своего властелина от его болезни, хотя это и сопровождалось нелестными замечаниями по адресу принцев и монархов.

– Есть гроссмейстер тамплиеров, – продолжал он, – неустрашимый, опытный, храбрый в бою и мудрый в совете. К тому же он владеет королевством, которое могло бы отвлечь его от завоевания Святой земли. Что думает ваше величество о нем как о предводителе христианской рати?

– Да, – отвечал король, – возражений против брата Жиля Амори\* нет: он знает, как построить войска в боевом порядке, и сам всегда сражается в первых рядах. Но, сэр Томас, справедливо ли было бы отнять Святую землю у язычника Саладина, отличающегося всеми добродетелями, которые могут быть и у неверного, и потом отдать ее Жилю Амори? Он хуже язычника: идолопоклонник, последователь Сатаны, колдун. Он совершает во мраке своих подвалов самые жуткие и жестокие преступления.

– А гроссмейстер ордена госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского? Его слава не запятнана подозрениями в ереси или в магии, – сказал Томас де Во.

– Этот жалкий скряга? – поспешно возразил Ричард. – Разве его не подозревали (даже больше, чем подозревали) в продаже неверным наших секретов, которые они никогда не получили бы силой оружия? Ну уж нет, барон! Лучше предать армию, продав ее венецианским шкиперам и ломбардским торгашам, чем доверить ее гроссмейстеру ордена святого Иоанна.

– Тогда я решусь сделать другое предложение, – сказал барон де Во. – Что вы скажете о доблестном маркизе Монсерратском? Он так умен, изящен и в то же время хороший воин.

---

<sup>9</sup> Назад и вперед (*фр.*).

– Умен? Хитер, ты хочешь сказать, – отвечал Ричард, – изящен в дамских покоях, если хочешь. Конрад Монсеррат – ский – кто не знает этого щеголя? Шаткий политик, он способен менять свои намерения так же часто, как ленты своего камзола. Никогда нельзя угадать, что он хочет сказать – откровенен он или это только маска? Воин? Нет, прекрасный наездник и ловок на турнирах и в скачках с препятствиями, когда мечи притуплены, а на копья надеты деревянные наконечники. Тебя ведь не было со мной, когда я раз сказал весельчаку маркизу: «Нас здесь трое добрых христиан, а вот там вдали десятков пять-шесть сарацин; что, если мы их внезапно атакуем? На каждого рыцаря придется лишь по двадцать басурман».

– Да, помню его ответ, – сказал де Во, – он сказал, что тело его из плоти, а не из железа, и что он предпочел бы иметь сердце человека, а не хищного зверя, хотя бы и льва. Но я знаю, на чем мы порешим: мы закончим тем, с чего начали. Нет никакой надежды, что мы сможем помолиться у Гроба Господня, пока небо не пошлет исцеление королю Ричарду.

Услышав эти мрачные слова, Ричард весело рассмеялся, чего с ним давно не случилось.

– Великая вещь совесть, – сказал он, – если даже ты, тупоголовый северный лорд, можешь заставить своего короля сознаться в безумии. Поистине, если бы они не считали себя способными занять мое место, я и не подумал бы о том, чтобы срывать шелковые украшения с кукол, которых ты мне показал. Что мне до того, в какой мишуре они щеголяют, но я не могу допустить, чтобы они соперничали со мной в благородном деле, которому я себя посвятил. Да, де Во, я сознаюсь в своей слабости, упрямстве и честолюбии. Несомненно, в нашем христианском лагере найдется немало рыцарей получше Ричарда Английского, и было бы благоразумно назначить одного из них вождем войска. Но, – продолжал воинственный монарх, приподнимаясь на постели и срывая повязку с головы; его глаза сверкали, словно он чувствовал себя накануне сражения, – но если бы такой рыцарь водрузил знамя крестоносцев на Иерусалимском храме в то время, как я прикован к постели и не в состоянии принять участие в этом благородном подвиге, то как только я смог бы снова держать копье, я вызвал бы его на поединок за то, что он отнял мою славу и достиг цели раньше меня. Но слушай, что это за трубные звуки вдали?

– Это, вероятно, трубы короля Филиппа, – сказал дородный англичанин.

– Ты туг на ухо, Томас, – сказал король, стараясь приподняться. – Разве ты не слышишь шум и лязг оружия? Боже мой, ведь это турки вошли в стан – я слышу их военный клич.

Он опять попытался встать с постели, и де Во должен был приложить всю свою могучую силу, да еще позвать на помощь приближенных из внутреннего шатра, чтобы удержать его.

– Ты вероломный изменник, де Во, – сказал разъяренный монарх, когда, с трудом переводя дыхание и измученный борьбой, он вынужден был покориться силе и снова улечься. – Ох, если бы... если бы я был настолько силен, чтобы разmozжить тебе голову секирой!

– Как бы я хотел, чтобы вы обладали такой силой, государь, – сказал де Во, – даже с риском стать ее жертвой. Христианский мир только выиграл бы, если б Томас Малтон был убит, а Ричард Львиное Сердце вновь стал самим собой.

– Мой верный и преданный слуга, – сказал Ричард, протянув руку, которую барон почтительно поцеловал, – прости своему государю его нетерпение. Это пылающая во мне лихорадка, а не твой добрый король Ричард Английский бранит тебя. Но прошу – пойди и узнай, что это за чужестранцы появились в лагере: это шум не от христианского войска.

Де Во вышел из шатра исполнить поручение, приказав камергерам, пажам и слугам удвоить внимание к государю на время своего краткого отсутствия и угрожая им наказанием в случае неповиновения. Однако угрозы эти скорее увеличили, чем уменьшили робость, которую они испытывали при исполнении своего долга, так как гнева сурового и неумолимого лорда Гилсленда они страшились едва ли меньше, чем гнева самого монарха.

## Глава VII

*Кто когда-нибудь видел на границе двух стран  
Встречу горцев и англичан,  
Тот видел, как кровь их бежала струей,  
Словно с гор поток дождевой.*

### *«Битва при Оттерборне»\**

Большой отряд шотландских воинов присоединился к крестоносцам, став под знамена английского монарха. Как и его собственные войска, большинство из них были саксонцами и норманнами и говорили на тех же языках. Некоторые владели поместьями в Англии и Шотландии, многие были в кровном родстве между собой. Период этот предшествовал тому времени, когда жадный и властолюбивый Эдуард I\* придал войнам между этими двумя нациями столь жестокий и неумолимый характер: англичане воевали за покорение Шотландии, а шотландцы отстаивали свою независимость с решимостью и упорством, столь характерными для этой нации, сражаясь в самой неблагоприятной обстановке, не останавливаясь ни перед чем, подвергаясь величайшим опасностям. До сих пор войны между двумя нациями, как бы часты и жестоки они ни были, велись с соблюдением принципов справедливости, и каждый стремился проявить благородство и уважение к своему великодушному противнику, что смягчало и ослабляло ужасы войны. Поэтому в мирное время, в особенности когда обе нации, как сейчас, вступали в войну, преследуя общую цель, цель эта становилась им близкой еще и потому, что они исповедовали одну и ту же веру. Искатели приключений из обеих стран часто сражались бок о бок; соперничество двух наций лишь возбуждало у них стремление превзойти друг друга на поле брани, в борьбе против общего врага.

Великодушный, но воинственный характер Ричарда, не делавшего никакого различия между своими подданными и подданными Вильгельма Шотландского\* и различавшего их лишь по поведению на поле сражения, во многом способствовал примирению между ними. Однако из-за его болезни и неблагоприятных условий, в которых находились крестоносцы, между различными группами войск понемногу возникала национальная рознь совершенно так же, как старые раны снова дают себя чувствовать под влиянием болезни или слабости.

Шотландцы и англичане, в равной мере ревностные и отважные, не способны сносить обиды, в особенности первые, как нация более бедная и слабая, и начали предаваться междоусобным распрям, когда перемирие запрещало им совместно вымещать свою злобу на сарацинах. Подобно враждовавшим вождям Древнего Рима, шотландцы не желали признавать ничьего превосходства, а их южные соседи не терпели никакого равенства в отношениях. Возникли раздоры и распри. Как воины, так и все их начальники, дружившие во время победного наступления, стали угрожать друг другу несмотря на то, что их единение, казалось, должно было бы стать теперь нерушимым, как никогда, для успеха общего дела, а также для безопасности всей армии. Такая же рознь начала чувствоваться между французами и англичанами, итальянцами и германцами и даже датчанами и шведами. Но здесь речь будет идти прежде всего о том, что разъединяло две нации, жившие на одном острове. Казалось, что именно эта причина усугубляла их взаимную вражду.

Из всех знатных англичан, следовавших в Палестину за своим королем, де Во был одним из наиболее ярых противников шотландцев. Они были его ближайшими соседями, с которыми он всю жизнь вел тайную и открытую войну, кому он причинил немало страданий и от которых сам немало претерпел.

Его любовь и преданность королю походила на преданность старого пса своему хозяину. Он был резок и неприступен в обращении даже с теми, к кому был равнодушен, а к навлекшим его нерасположение был груб и придирчив. Де Во не мог без чувства негодования и ревности относиться к проявлению симпатии и внимания короля к представителям нечестивой, вероломной и жестокой, по его мнению, нации, родившейся по ту сторону реки или за какой-то воображаемой чертой, проведенной через дикую, пустынную местность. Он даже сомневался в успехе Крестового похода, в котором было разрешено участвовать этим людям; по его мнению, они были немногим лучше сарацин, с которыми он пришел сражаться. Можно добавить, что, будучи прямым и откровенным англичанином, не привыкшим утаивать ни малейшего проявления любви или неприязни, он считал искренние выражения вежливости и обходительности со стороны шотландцев, которым они научились, или подражая своим частым союзникам – французам, или выказывая эти черты благодаря гордости и скрытности своего характера, лишь опасным проявлением вероломства и хитрости по отношению к их соседям, над которыми, как он думал со свойственной англичанам самоуверенностью, они никогда не возвысятся, несмотря на свою храбрость.

Однако, хотя де Во питал эти чувства ко всем своим северным соседям, лишь немного смягчая их по отношению к участникам Крестового похода, его почитание короля и чувство долга, диктуемое обетами крестоносца, не позволяли ему обнаружить их публично. Он постоянно избегал общения со своими шотландскими братьями по оружию. Когда ему приходилось встречаться с ними, он хранил угрюмое молчание, а при встрече во время похода или в лагере окидывал их презрительным взглядом. Шотландские бароны и рыцари не могли не замечать и не оставлять без ответа подобные знаки презрения, и все считали де Во заклятым врагом этой нации, которую на самом деле он только недолюбливал, выказывая ей свое пренебрежение. Более того, внимательными наблюдателями было замечено, что хоть он и не испытывал к ним провозглашенного Писанием милосердия, прощающего обиды и не осуждающего ближнего, ему нельзя было отказать в более скромной добродетели, помогающей ближнему в нужде. Богатство Томаса Гилсленда позволяло ему заботиться о приобретении продовольствия и медикаментов, часть которых как-то попадала и в лагерь шотландцев. Такая угрюмая благотворительность руководствовалась принципом: после друга важнее всех для тебя твой враг, а все остальные люди слишком безразличны, чтобы о них думать. Эти пояснения необходимы, чтобы читатель мог понять то, о чем будет речь впереди.

Едва Томас де Во успел сделать несколько шагов, покинув королевский шатер, как услышал то, что сразу же различил более острый слух английского монарха, отличного знатока искусства менестрелей, а именно, что звуки музыки, достигшие их слуха, производились дудками, свирелями и литаврами сарацин. В конце дороги, между линиями палаток, ведущих к шатру Ричарда, он различил толпу праздных воинов, собравшихся там, откуда слышалась музыка, почти в самом центре стана. К своему удивлению, среди разных шлемов крестоносцев всех наций он увидел белые тюрбаны и длинные копья, что указывало на появление вооруженных сарацин, а также возвышавшиеся над толпой безобразные головы нескольких верблюдов-дромадеров с несуразно длинными шеями.

Неприятно удивленный при виде столь неожиданного зрелища (по установившемуся обычаю, все парламентерские флаги оставались за пределами стана), барон осмотрелся, думая найти кого-нибудь, у кого он мог бы разузнать о причинах этого опасного новшества. В первом, кто шел ему навстречу, он тотчас же по надменной осанке признал испанца или шотландца и невольно пробормотал:

– Да, это шотландец, рыцарь Леопарда. Я видел, как он сражался – не так уж плохо для уроженца этой страны.

Не желая обращаться к нему, он собрался было уже пройти мимо с угрюмым и недовольным видом, как бы говоря: «Я тебя знаю, но не намерен вступать в разговоры». Однако

его намерение было расстроено северным рыцарем, который сразу направился к нему и, отдав учтивый поклон, сказал:

– Милорд де Во Гилсленд, мне нужно поговорить с вами.

– Вот как, – ответил английский барон, – со мной? Но что вам угодно? Говорите скорее: я иду по поручению короля.

– Мое дело касается короля Ричарда еще ближе, – отвечал Кеннет. – Я надеюсь, что верну ему здоровье.

Окинув его недоверчивым взглядом, лорд Гилсленд отвечал:

– Но ведь ты же не лекарь, шотландец, я скорее поверил бы тебе, если б услышал, что ты несешь королю богатство.

Раздраженный ответом барона, Кеннет все же спокойно ответил:

– Здоровье Ричарда – это слава и счастье всего христианства. Однако время не ждет! Скажите, могу я видеть короля?

– Конечно, нет, дорогой сэръ, – сказал барон, – пока ты не изложишь яснее, что у тебя за поручение. Шатер больного короля не может быть открыт для каждого, словно шотландская харчевня.

– Милорд, – сказал Кеннет, – на мне такой же крест, как и на вас, а важность того, что я имею вам сказать, вынуждает меня не придавать значения вашему вызывающему поведению, которого в ином случае я бы не снес. Одним словом, я привез с собой мавританского лекаря, который берется излечить короля Ричарда.

– Мавританского лекаря? – повторил де Во. – А кто поручится, что он не привез какую-нибудь отраву вместо лекарства?

– Его собственная жизнь, милорд, которую он предлагает в залог.

– Знал я не одного отчаянного головореза, – сказал барон де Во, – ценившего свою жизнь не больше того, что она стоила, и готового шагать на виселицу так же весело, как если бы палач был его партнером в танцах.

– Совершенно верно, милорд, – отвечал шотландец. – Саладин, которому никто не откажет в мужестве и благородстве, прислал своего лекаря с почетной свитой, стражей и конвоем, подобающим тому высокому положению, которое эль-хаким<sup>10</sup>занимает при дворе султана, с плодами и напитками для королевского стола и с посланием, достойным благородных врагов. Он шлет ему пожелания скорейшего избавления от лихорадки, с тем чтобы он мог принять султана с обнаженной саблей в руке и конвоем в сто тысяч всадников. Не соблаговолите ли вы, как член королевского Тайного совета, приказать развьючить верблюдов и распорядиться о приеме ученого лекаря?

– Поразительно! – сказал де Во как бы про себя. – А кто поручится за Саладина, если он прибегнет к хитрости и захочет сразу избавиться от своего самого могущественного противника?

– Я сам, – сказал Кеннет, – ручаюсь за него своей честью, жизнью и состоянием.

– Странно, – воскликнул де Во, – север ручается за юг, шотландец – за турка! Могу ли я спросить вас, сэръ рыцарь, а вы-то как вмешались в это дело?

– Мне было поручено, – сказал Кеннет, – во время паломничества по святым местам вручить послание отшельнику энгаддийскому.

– Может ли мне быть доверено его содержание, сэръ Кеннет, а также ответ святого отца?

– Нет, милорд, – ответил шотландец.

– Но я член Тайного совета Англии, – надменно возразил англичанин.

---

<sup>10</sup> Лекарь. (Примеч. авт.)

– Этой стране я не подвластен, – сказал Кеннет. – Хотя я добровольно следовал в войне за знаменами английского короля, все же я был послан от Совета королей, принцев и высших полководцев воинства святого креста, и только им я отдам отчет.

– Ах, вот как! – сказал гордый барон де Во. – Так знай же, посланец королей и принцев, как ты себя называешь, что никакой лекарь не приблизится к постели короля Ричарда Английского без согласия Томаса Гилсленда, и жестоко поплатится тот, кто нарушит этот запрет.

С надменным видом он повернулся, чтобы уйти, но шотландец, подойдя к нему ближе, спокойным голосом, в котором также звучала гордость, спросил, считает ли его лорд Гилсленд джентльменом и благородным рыцарем.

– Все шотландцы рождаются джентльменами, – с некоторой иронией отвечал Томас де Во. Но, почувствовав свою несправедливость и видя, что Кеннет покраснел, он добавил: – Грешно было бы сомневаться в твоих достоинствах. Я сам видел, как смело ты исполняешь свой воинский долг.

– Но в таком случае, – сказал шотландский рыцарь, довольный искренностью, прозвучавшей в этом признании, – позвольте мне поклясться, Томас Гилсленд, что как верный шотландец, гордящийся своим происхождением и предками, и как рыцарь, пришедший сюда, чтобы обрести славу в земной жизни и заслужить прощение своих грехов в жизни небесной, именем святого креста, что я ношу, я торжественно заявляю, что желаю лишь спасения Ричарда Львиное Сердце, когда предлагаю ему услуги этого мусульманского лекаря.

Англичанин, пораженный этой торжественной клятвой, с большей сердечностью ответил ему:

– Скажи мне, рыцарь Леопарда: признавая, что ты сам уверен в искренности султана (в чем я не сомневаюсь), правильно ли бы я поступил, если бы предоставил этому неизвестному лекарю возможность испробовать свои зелья на том, кто так дорог христианству, в стране, где искусство отравления людей – такое же обычное дело, как приготовление пищи?

– Милорд, – отвечал шотландец, – на это я могу ответить лишь так: мой оруженосец, единственный из моих приближенных, которого оставила мне война и болезни, недавно заболел такой же лихорадкой, которая в лице доблестного короля Ричарда поразила сердце нашего святого дела. Не прошло и двух часов, как этот лекарь, эль-хаким, дал ему свои лекарства, а он уже впал в спокойный, исцеляющий сон. Что эль-хаким в состоянии излечить эту губительную болезнь – я не сомневаюсь; что он готов это сделать – я думаю, доказывается тем, что он послан султаном, который настолько правдив и благороден, насколько может им быть ослепленный неверный. В случае успеха лекаря ждет щедрая награда, при намеренной ошибке – наказание – вот что может послужить достаточной гарантией.

Англичанин слушал, опустив взор, как бы в сомнении, хотя, видимо, он готов был поверить словам своего собеседника.

Наконец он поднял глаза и спросил:

– Могу я повидать вашего больного оруженосца, дорогой сэръ?

Шотландский рыцарь задумался и смутился, но затем ответил:

– Охотно, милорд Гилсленд, но вы должны помнить, когда увидите мое скромное жилище, что кормимся мы не так обильно, спим не на мягком и не заботимся о столь роскошном жилище, как это свойственно нашим южным соседям. Я живу в бедности, милорд Гилсленд, – добавил он с подчеркнутой выразительностью. И как бы нехотя он пошел вперед, показывая дорогу к своему временному жилищу.

Каковы бы ни были предубеждения де Во против нации, к которой принадлежал его новый знакомый, и хотя мы не склонны отрицать, что причиной их была ее всем известная бедность, он был слишком благороден, чтобы радоваться унижению этого храбреца, открыто признавшего свою нищету, которую из гордости он хотел бы скрыть.

– Воину-крестоносцу, – сказал де Во, – стыдно мечтать о мирском великолепии или роскошном жилье, когда он идет в поход для покорения святого города. Хоть нам и несладко живется, но все же мы живем лучше, чем те мученики и святые, что странствовали по этим местам, а теперь предстоят на небесах с горящими золотыми светильниками и пальмовыми ветвями.

То была одна из самых метафорических и напыщенных речей, когда-либо произнесенных Томасом Гилслендом, тем более что она далеко не выражала его собственных чувств: сам он любил хороший стол, веселые пиры и роскошь. Тем временем они подошли к тому месту, где расположился лагерь рыцаря Леопарда.

Действительно, внешний вид его жилища говорил о том, что законы аскетизма, которым, по словам Гилсленда, должны следовать крестоносцы, здесь не были нарушены. Согласно правилам крестоносцев, для рыцаря была оставлена свободной площадь, достаточная, чтобы раскинуть тридцать шатров. Из тщеславия рыцарь потребовал себе такой участок, якобы для первоначальной своей свиты. Половина участка осталась свободной, а на другой половине стояло несколько убогих хижин, сплетенных из прутьев и прикрытых пальмовыми ветвями; все они казались пустыми, а некоторые были полуразрушены. Над главной хижинкой, предназначенной для вождя, на вершине копия было водружено знамя в форме ласточкиного хвоста. Его длинные складки, как бы увядшие под палящими лучами азиатского солнца, неподвижно свисали вниз. Но возле этой эмблемы феодального могущества и рыцарского достоинства не было видно ни одного пажа или оруженосца, ни даже одинокого часового. Стражем, охранявшим его от оскорбления, была лишь репутация его владельца.

Кеннет окинул печальным взором все кругом, но, поборов свои чувства, вошел в хижину, сделав знак барону Гилсленду следовать за ним. Де Во также окинул хижину пытливым взглядом, выразившим отчасти жалость, отчасти презрение, которому это чувство, быть может, так же сродни, как любви. Слегка нагнувшись, чтобы не задеть высоким шлемом за косяк, он вошел в низкую хижину и, казалось, заполнил ее всю своей тучной фигурой.

Большую часть хижины занимали две постели. Одна была пуста; сделана она была из листьев и покрыта шкурой антилопы. По доспехам, разложенным рядом, и серебряному распятию, с благоговением воздвигнутому у изголовья, видно было, что то была постель самого рыцаря. На соседней лежал больной, о котором говорил Кеннет. Это был хорошо сложенный человек с суровыми чертами лица; он, по-видимому, перешагнул за средний возраст. Его постель была более мягкой, чем постель его господина; было ясно, что парадные одежды, которые рыцари носили при дворе в мирное время, а также различные мелочи в одежде и украшения были предоставлены Кеннетом для удобства его больного слуги. Недалеко от входа английский барон заметил мальчика: он сидел на корточках перед жаровней, наполненной древесным углем, обутый в грубые сапоги из оленьей шкуры, в синей шапке и сильно потертом камзоле. Он жарил на железном листе лепешки из ячменной муки, которые в то время, да и теперь еще, являлись любимой едой шотландцев. Часть туши антилопы была развешана на подпорках хижины. Нетрудно догадаться, как она была поймана: большая борзая, превосходившая породой даже тех, что стерегли постель больного короля Ричарда, лежала тут же, наблюдая за тем, как пеклись лепешки. Чуткий пес, завидя вошедших, глухо зарычал: это рычание походило на раскаты отдаленного грома. Но при виде хозяина он завилял хвостом и вытянул голову, как бы воздерживаясь от бурного выражения своего приветствия: казалось, благородный инстинкт заставлял его вести себя тише в присутствии больного.

Рядом с постелью, на подушке, сделанной тоже из шкур, по восточному обычаю скрестив ноги, сидел мавританский лекарь, о котором говорил Кеннет. При тусклом свете его трудно было разглядеть; можно было лишь разобрать, что нижняя часть его лица была скрыта длинной черной бородой, свисавшей на грудь, и что на нем была круглая татарская барашковая шапка

такого же цвета и темный широкий турецкий кафтан. Во тьме виднелись лишь два пронизательных глаза, светившихся необычайным блеском.

Английский лорд молча стоял с выражением почтительного благоговения. Несмотря на его обычную грубость, вид нищеты и страданий, переносимых без жалоб и ропота, всегда внушал Томасу де Во больше уважения, чем великолепие королевских покоев, если только покои не принадлежали самому королю Ричарду. Не было ничего слышно, кроме тяжелого, но мерного дыхания больного, который спал глубоким сном.

– Он не спал уже шесть ночей, – сказал Кеннет, – как мне говорил тот малыш, что за ним ухаживает.

– Мой благородный шотландец, – сказал Томас де Во, схватив руку шотландского рыцаря и сжимая ее с сердечностью, какую не решался придать своим словам, – так не может продолжаться. У твоего оруженосца слишком скудная пища, и за ним плохой уход.

Последние слова он произнес обычным решительным тоном, невольно повысив голос. Больной беспокойно зашевелился.

– Господин мой, – пробормотал он как бы в полусне, – благородный сэра Кеннет, как отраднo утолить жажду холодной водой Клайда после соленых источников Палестины...

– Это он грезит о родной земле и, видно, счастлив в своих грезах, – шепнул Кеннет Томасу де Во. Едва он произнес эти слова, как лекарь, внимательно наблюдавший за пульсом больного, осторожно опустил его руку на постель, встал, подошел к обоим рыцарям, знаком призывая их хранить молчание, и, взяв их под руки, вывел из хижины.

– Во имя Иссы бен-Мариам, – сказал он, – того, кого мы чтим так же, как и вы, хоть и не с таким слепым суеверием, не мешайте действию святого снадобья, которое он принял. Разбудить теперь означало бы умертвить его, или он может лишиться рассудка. Возвращайтесь в тот час, когда муэдзин будет с минарета призывать верующих для вечерних молитв в мечети. Если никто не нарушит его сна, я обещаю вам, что этот франкский воин без вреда для здоровья сможет уже говорить с вами и ответить на вопросы, которые захочет задать ему его хозяин.

Рыцари ушли, уступая настояниям лекаря, видимо вполне понимавшего все значение восточной пословицы: «Комната болящего – царство лекаря».

Они стояли около входа в хижину: Кеннет – ожидая, что посетитель с ним простится, а де Во, видимо, обдумывал что-то, не решаясь уйти. Пес выбежал за ними из хижины и ткнулся длинной мордой в руку хозяина, как бы требуя от него внимания. Услышав ласковое слово своего господина и почувствовав легкое прикосновение его руки, он, видимо спеша выказать признательность за благоговение и радость по поводу возвращения хозяина, стал носиться взад и вперед, виляя хвостом, мимо полуразрушенных хижин по эспланаде, о которой мы упомянули. При этом он ни разу не нарушил ее границ, как будто умное животное понимало, что они охраняются знаменем его хозяина. После нескольких прыжков пес, подойдя к хозяину, оставил свой игривый пыл, вернувшись к обычной важности и словно стыдясь, что поддался слабости и не сдержал себя.

Оба рыцаря с удовольствием смотрели на него. Кеннет справедливо гордился своим благородным животным. Английский барон тоже был страстным любителем охоты и большим знатоком борзых.

– Ловкий, сильный пес, – сказал он. – Думаю, дорогой мой, что у короля Ричарда нет собаки, которая могла бы помериться с ним, если верность его не уступает его ловкости. Но я позволю себе спросить – при всем уважении и добрых чувствах, которые я к тебе питаю, разве ты не слышал о приказе, запрещающем всем ниже ранга графа держать в лагере собак без королевского разрешения? Полагаю, что у тебя нет такого разрешения, сэра Кеннет? Я говорю это как королевский шталмейстер.

– А я отвечаю как свободный шотландский рыцарь, – с достоинством ответил Кеннет. – В настоящее время я следую за знаменем Англии, но не припомню, чтобы я когда-нибудь под-

чинялся охотничьим законам этого королевства, и я не настолько их уважаю, чтобы им подчиниться. Но как только протрубят сбор – моя нога уже в стремени, не позже других, а едва прозвучит сигнал к атаке – копые мое никогда еще не было среди последних. Что же касается моего досуга и свободы, то король Ричард не вправе ставить им преграды.

– Все-таки, – сказал де Во, – это безумие не слушаться приказов короля. Итак, с вашего позволения, так как это поручено мне, я пришлю вам охранную грамоту на этого красавца.

– Благодарю вас, – сказал шотландец холодно, – но он хорошо знает отведенное мне место, и здесь я сам могу его защитить. Однако, – сказал он, внезапно меняя тон, – негоже мне так отвечать на вашу сердечность. От души спасибо вам, милорд. Но конюшие и доезжачие короля могут схватить Росвалья. Я отвечу обидой на обиду, а это может привести к неприятностям. Вы видели так много в моем хозяйстве, милорд, – добавил он с улыбкой, – что мне не стыдно признаться! Росваль – наш главный фуражир. Надеюсь, что наш лев Ричард не будет похож на льва в сказке менестрелей, который на охоте всю добычу присвоил себе. Я не думаю, чтобы он сердился на бедного джентльмена, его верного соратника, если тот в свободное время добудет себе немного дичи, в особенности когда другой пищи и не достанешь.

– Поистине ты лишь отдаешь должное королю, – сказал барон, – однако это слово – «дичь» – сможет вскружить голову нашим норманнским баронам.

– Мы недавно слышали, – сказал шотландец, – от менестрелей и пилигримов, что ваши йомены, объявленные вне закона, образовали целые банды в графствах Йорк и Ноттингем, а их вождь – отважный стрелок по прозвищу Робин Гуд со своим помощником Маленьким Джоном. По-моему, лучше бы Ричард смягчил свои охотничьи законы в Англии, вместо того чтобы навязывать их Святой земле.

– Это сумасшествие, сэр Кеннет, – ответил де Во, пожимая плечами, видимо желая избежать неприятного и опасного разговора. – Мы живем в сумасшедшем мире, сэр. Я должен теперь вас покинуть, так как мне нужно вернуться в королевский шатер. Во время вечерних молитв я, с вашего разрешения, посетю ваше жилище и переговорю с этим мусульманским лекарем. Если вы не обидитесь, я охотно пришлю что-нибудь, чтобы улучшить ваши трапезы.

– Благодарю, вас, сэр, – сказал Кеннет, – не нужно. Росваль уже наготовил мне припасов недели на две, а ведь солнце Палестины хоть и приносит болезни, но в то же время сушит нам оленину.

Два воина расстались лучшими друзьями, чем при встрече. Однако, прежде чем разойтись, Томас де Во разузнал наконец о подробностях появления восточного лекаря и получил от шотландского рыцаря верительные грамоты Саладина, чтобы вручить их королю Ричарду.

## Глава VIII

*Врач, от недугов знающий лекарства,  
Важней солдат для блага государства.*

### *«Илиада» Попа\**

– Странная история, сэра Томас, – сказал больной король, выслушав доклад верного барона Гилсленда. – Ты уверен в благонадежности этого шотландца?

– Утверждать не могу, милорд, – ответил ревностный житель границы. – Я живу слишком близко к шотландцам, чтобы мог на них полагаться; люди эти бывают и откровенны и лживы. Но, судя по его поведению, сказать по совести, будь он или сам Сатана, или шотландец, он человек правдивый.

– А что ты скажешь о его поведении как рыцаря? – спросил король.

– Это скорее дело вашего величества, чем мое, но я уверен, что вы и сами видели, как себя ведет этот рыцарь Леопарда. И слава о нем хорошая.

– Это правда, Томас, – сказал король. – Мы сами видели его в бою. Мы намеренно идем в первые ряды, чтобы видеть, как сражаются наши вассалы и подданные, а вовсе не для того, как думают многие, чтобы обрести себе славу. Мы знаем всю тщету человеческих похвал: это дым. И не за этим поднимаем мы оружие.

Де Во не на шутку встревожился, услышав подобные признания короля, которые так не соответствовали его натуре. Сначала он решил, что лишь близость смерти заставила монарха говорить в столь откровенно пренебрежительном тоне о военной славе, необходимой ему как воздух, но, вспомнив, что, входя в шатер, он встретил королевского духовника, он был достаточно проникателен, чтобы понять, что временное самоуничтожение было продиктовано внушением священника. Поэтому он ничего не ответил.

– Да, – продолжал Ричард, – я заметил, как он исполняет свой долг. Если бы он ускользнул от моего наблюдения, мой предводительский жезл не стоил бы и погремушки шута. Я давно оказал бы ему знаки моей милости, если бы не заметил его вызывающе гордый вид и самоуверенность.

– Ваше величество, – сказал барон Гилсленд, видя, как меняется выражение лица короля. – Боюсь, это я навлеку на себя ваш гнев, если скажу, что слегка потворствовал его поступкам.

– Как, де Малтон, ты? – сказал король, нахмутив брови и негодующим тоном выражая свое изумление. – Ты мог потворствовать его дерзости? Этого не может быть.

– С разрешения вашего величества, – сказал де Во, – я беру на себя смелость напомнить, что мне дано право разрешать людям наиболее знатного происхождения содержать по одной или две борзых в пределах стана для поощрения благородного искусства псовой охоты: да и кроме того, было бы грехом искалечить или уничтожить такого замечательного и благородного пса.

– У него действительно такой красивый пес? – спросил король.

– Самое совершенное создание, – сказал барон, большой любитель охоты, – и притом самой благородной северной породы: широкая грудь, крепкая спина, черная шерсть с сероватыми пятнами на груди и ногах, сила – хоть быка повалит, быстрота – загонит антилопу.

Король рассмеялся, услышав эту восторженную речь.

– Ну, раз ты разрешил ему держать этого пса, то не будем больше говорить об этом. Но все-таки будь осторожен в выдаче разрешений таким рыцарям-авантюристам, которые не

подчиняются никакому государю или вождю: на них нет никакой управы, и они, пожалуй, не оставят больше дичи в Палестине. Ну а теперь вернемся к ученому язычнику. Ты говоришь, что шотландец встретил его в пустыне?

– Нет, ваше величество; вот что рассказывает шотландец. Он был послан к старому энгаддийскому отшельнику, о котором столько говорят.

– Проклятие! – воскликнул Ричард, вскакивая с постели. – Кем он послан и для чего? Кто посмел послать туда кого бы то ни было, когда наша королева была в Энгаддийском монастыре, совершая паломничество и молясь о нашем выздоровлении?

– Его послал Совет крестоносцев, милорд, – отвечал барон де Во. – Он отказался сообщить мне, по какому делу. Думаю, мало кому известно, что ваша августейшая супруга отправилась в паломничество: и даже монархи едва ли знали об этом, так как королева лишена была возможности быть с вами, потому что из любви к ней вы запретили ей ухаживать за вами, боясь заразы.

– Ну хорошо, об этом я разужнаю, – сказал Ричард. – Итак, ты говоришь, что этот шотландец встретился с кочующим лекарем в Энгаддийской пещере?

– Не совсем так, ваше величество, – ответил де Во. – Но, кажется, в тех местах он встретил сарацинского эмира; по дороге они вступили в бой и померились силами, состязаясь в храбрости. Признав его достойным спутником, он, как это принято среди странствующих рыцарей, вместе с ним отправился к Энгаддийской пещере.

Здесь де Во умолк: он не принадлежал к тем, кто способен сразу рассказать длинную историю.

– И там они встретили лекаря? – нетерпеливо спросил король.

– Нет, ваше величество, не там, – отвечал де Во, – но сарацин, узнав о том, что ваше величество тяжело больны, добился, чтобы Саладин прислал к вам личного лекаря, известного своим искусством. Он пришел в пещеру, где шотландский рыцарь прождал его несколько дней. Он окружен большим почетом, словно владетельный государь: барабаны, трубы, конный и пеший конвой. Он привез верительные грамоты от Саладина.

– Джакомо Лоредани прочел их?

– Перед тем как принести их сюда, я показал их переводчику, и вот английский текст.

Ричард взял свиток, на котором были начертаны следующие слова: «Благословение Аллаха и его пророка Мухаммеда».

– Нечестивый пес! – воскликнул Ричард, сплюнув в знак презрения.

– «Саладин, король королей, султан Египта и Сирии, светоч и оплот земли, посылает приветствие великому Мелеку Рикю – Ричарду, королю Англии. Так как мы были осведомлены, что тяжкий недуг одолел тебя, нашего высочайшего брата, и что при тебе находятся лишь лекари – назареяне и иудеи, не осененные благословением Аллаха и нашего святого пророка (“Безумец!” – опять пробормотал английский монарх), то мы посылаем для ухода за тобой нашего личного лекаря Адонбека эль-хакима, перед которым ангел смерти Азраил простирает крылья и тотчас же покидает шатер болящего. Ему известны все свойства трав и камней, пути солнца, луны и звезд, и он может спасти человека от всего, что не начертано роком на его челе. Поступая так, мы просим тебя от души принять его и использовать его знания и опытность. Мы не только хотели бы оказать услуги тебе, чья доблесть составляет славу всех народов Франгистана: мы этим можем привести к окончанию всей распри между нами либо путем заключения достойного соглашения, либо поединком в открытом поле. Мы сознаем, что неуместно тебе, носителю столь высокого сана и обладающему такой доблестью, умирать смертью раба, как бы замученного своим надсмотрщиком. Слава наша не может допустить, чтобы такой недуг сразил столь храброго противника. Поэтому да позволено будет святому...»

– Стой, стой, – сказал Ричард, – хватит с меня об этом псе – пророке. Мне противно думать, что храбрый и достойный султан может верить в дохлую собаку. Да, я приму его лекаря;

я отдам себя на попечение этого хакима, я не останусь в долгу перед великодушным благородного султана, я встречу с Саладином в открытом поле, как он мне предлагает, и не дам ему повода называть Ричарда, короля Англии, неблагодарным: своей булавой я сброшу его на землю. Ударами, какие он редко на себе испытывал, я обращу его в христианскую веру. Я заставлю его отречься от своих заблуждений перед моим мечом с крестом-рукоятью, и я окрещу его на поле брани из собственного шлема, хоть очистительная вода, может быть, и будет смешана с кровью. Торопись, де Во, что же ты медлишь с выполнением столь приятного поручения? Приведи сюда хакима.

– Милорд, – отвечал барон; он чувствовал, что в потоке этих признаний может усилиться лихорадка. – Подумайте о том, что султан – язычник и что вы – его опасный враг.

– И потому тем более он обязан оказать мне услугу, если только эта подлая лихорадка не положит конец спорам между двумя такими королями. Говорю тебе: он любит меня, и я его, как могут любить друг друга два благородных противника. Клянусь честью, было бы грешно сомневаться в его добрых намерениях и честности.

– Все же, милорд, было бы лучше дожидаться результата действия этих лекарств на шотландского оруженосца, – сказал лорд Гилсленд. – Моя собственная жизнь зависит от этого. Если бы я поступил неосторожно в этом деле, я погубил бы христианство и заслуживал бы смерти, как собака.

– До сих пор я не знал, что ты способен опасаться за свою жизнь, – укоризненно произнес Ричард.

– Я не колебался бы и сейчас, – отвечал смелый барон, – если бы и ваша жизнь также не подвергалась опасности.

– Ну хорошо. Иди, недоверчивый человек, – отвечал Ричард, – и посмотри, как действует это лекарство. Я хотел бы, чтобы оно скорее или убило, или исцелило меня; уж очень тяжело мне валяться здесь, как быку, издыхающему от чумы, да еще в то время, когда бьют барабаны, слышится топот коней и звуки труб.

Барон поспешил удалиться, решив, однако, посоветоваться с кем-нибудь из духовенства. Он все же чувствовал на себе бремя ответственности при мысли о том, что его господин будет пользоваться услугами неверного.

Свои сомнения он прежде всего поведал архиепископу Тирскому\*, зная, какое влияние тот оказывает на короля Ричарда, любившего и уважавшего этого рассудительного прелата. Архиепископ выслушал сомнения, которые ему изложил де Во, выказывая свойственные римско-католическому духовенству остроту мысли и проницательность. Он не счел религиозные сомнения де Во достойными особого внимания, насколько это допускало приличие в беседе с мирянином, и отнесся к этому очень легко.

– Лекари, – сказал он, – и их снадобья часто приносили пользу, несмотря на то, что сами они по рождению и манерам являют собой все, что есть низменного в человечестве, а их снадобья извлекаются из самых скверных веществ. Люди могут прибегать к помощи язычников и неверных в своих нуждах, – продолжал он, – и есть основания полагать, что одна из причин, почему им разрешается продолжать свое существование на земле, – это то, что они оказывают помощь правоверным христианам. Таким образом, мы на законном основании превращаем пленных язычников в рабов. Скажу еще, – продолжал прелат, – что нет сомнения в том, что первобытные христиане пользовались услугами некрещеных язычников. Так, например, на корабле, на котором святой апостол Павел плыл из Александрии в Италию, матросы были, без сомнения, язычниками. А что сказал святой, когда явилась в них нужда? *Nisi hi in navi manserint, vos salvi fieri non potestis* – «вы не можете быть спасены, если эти люди не останутся на судне». Для христиан евреи – такие же неверные, как и мусульмане. Но ведь в стране боль-

шинство врачей – евреи, и их услугами пользуются без колебаний. Поэтому мы можем пользоваться услугами врачей-мусульман, *quod erat demonstrandum*<sup>11</sup>.

Доводы эти окончательно устранили сомнения Томаса де Во. Особенно сильное впечатление произвели на него латинские цитаты, хотя он не понял в них ни одного слова.

Архиепископ проявил гораздо меньше стоворчивости при обсуждении вопроса о возможности злого умысла со стороны сарацина. Тут он не пришел к быстрому решению. Барон показал ему верительные грамоты. Он прочел их, перечитал еще раз и сравнил перевод с оригиналом.

– Это блюдо приготовлено на славу, – сказал он, – оно придется по вкусу королю Ричарду, и потому у меня есть подозрения в отношении этого хитрого сарацина. В искусстве отравлять они очень изворотливы и могут так приноровить отраву, что она начнет действовать лишь через несколько недель, а преступник тем временем может легко исчезнуть. Они даже могут напитать тончайшим ядом материю, кожу, бумагу и пергамент. Да простит мне Божья Матерь! А я, зная это, почему-то держу эти письма близко к лицу! Возьмите их, сэр Томас, уберите скорее...

Он поспешно отдал грамоты барону, держа их как можно дальше от лица.

– Но пойдемте, милорд де Во, – продолжал он, – проводите меня в хижину болящего оруженосца: мы узнаем, действительно ли хаким обладает искусством исцеления, как он уверяет, прежде чем решим, можно ли безопасно испытать его лечение на короле Ричарде. Однако постойте, я захвачу с собой свой лекарственный ящик: ведь эти лихорадки весьма заразительны. Я советовал бы вам употреблять розмарин, смоченный в уксусе, милорд. Я ведь тоже кое-что смыслю в искусстве врачевания.

– Благодарю вас, ваше преосвященство, – отвечал Томас Гилсленд. – Если бы я был восприимчив к лихорадке, я бы давно ее схватил, находясь у постели моего повелителя.

Архиепископ Тирский покраснел, ибо сам избегал общения с больным королем. Он попросил барона показать ему дорогу. Остановившись перед убогой хижинкой, в которой жили рыцарь Леопарда и его слуга, архиепископ сказал де Во:

– Наверно, милорд, эти шотландские рыцари меньше заботятся о своих приближенных, чем мы – о своих собаках. Этот рыцарь, говорят, храбр в бою и удостоен важными поручениями во время перемирия, а жилище его оруженосца хуже самой последней собачьей конуры в Англии. Что вы скажете о ваших соседях?

– А то, что хозяин только тогда действительно заботится о своем слуге, когда помещает его там же, где живет сам, – сказал де Во и вошел в хижину.

Архиепископ с явной неохотой последовал за ним; хоть он и не лишен был некоторого мужества, оно несколько умерялось постоянной заботой о собственной безопасности. Он вспомнил, однако, что прежде всего ему необходимо лично составить себе суждение об искусстве арабского врача, а потому вошел в хижину с важным и величественным видом, который, как он думал, должен был внушить почтение чужестранцу.

По правде сказать, фигура прелата была довольно приметна и внушительна. В молодости он отличался красотой и, даже достигнув зрелых лет, старался казаться таким же красивым. Его епископская одежда отличалась роскошью: она была оторочена ценным мехом и отделана вышивкой. За кольца на его пальцах можно было бы купить целое графство; клубок, хоть и отстегнутый и свешивавшийся назад из-за жары, имел застежки из чистого золота, которыми закреплялся под подбородком. Его длинная борода, посеребренная годами, закрывала грудь. Один из двух прислужников, находившихся при нем, держал над его головой зонтик из пальмовых листьев, создавая искусственную тень, как принято на Востоке, тогда как другой, махая веером из павлиньих перьев, навевал на него прохладу.

---

<sup>11</sup> Что и требовалось доказать (*лат.*).

Когда архиепископ Тирский вошел в хижину шотландского рыцаря, хозяина там не было. Мавританский лекарь, на которого он пришел посмотреть, сидел около своего пациента в той же позе, в какой де Во оставил его несколько часов тому назад; он сидел на циновке из скрученных листьев, поджав под себя ноги. Больной, казалось, был погружен в глубокий сон, и лекарь время от времени щупал его пульс. Архиепископ в течение двух-трех минут молча стоял перед ним, как бы ожидая почтительного приветствия; он думал, что сарацин по крайней мере будет поражен при виде его внушительной фигуры. Но Адонбек эль-хаким едва обратил на него внимание, бросив в его сторону лишь беглый взгляд. Когда же прелат приветствовал его на франкском языке, принятом в этой стране, лекарь ответил лишь обычным восточным приветствием: «Salam alicum» («Да будет мир с тобой»).

– Это ты лекарь-язычник? – спросил архиепископ, слегка обиженный холодным приемом. – Я хотел бы поговорить с тобой о твоём искусстве.

– Если бы ты что-нибудь смыслил в медицине. – отвечал эль-хаким, – тебе было бы известно, что лекари не вступают в разговоры в комнате своих пациентов. Слышишь, – добавил он, когда из хижины донеслось глухое рычание борзой, – даже пес может поучить тебя уму-разуму: ведь чутье учит его не лаять, чтобы не тревожить больного. Выйдем из хижины, – сказал он, встав и идя к выходу, – если у тебя есть что мне сказать.

Несмотря на убогость одежды сарацинского лекаря и его малый рост по сравнению с фигурой прелата и гигантским ростом английского барона, в его облике и выражении лица было нечто такое, что удерживало тирского архиепископа от того, чтобы резко выразить свое неудовольствие по поводу столь бесцеремонного нравоучения. Выйдя из хижины, он молча в течение нескольких минут пристально смотрел на Адонбека, прежде чем избрать надлежащий тон для продолжения разговора. Никаких волос не видно было из-под высокой шапки араба, которая скрывала часть его высокого и широкого лба без единой морщины. На гладких щеках, видневшихся из-под длинной бороды, также не было видно морщин. Выше мы уже говорили о пронзительном взгляде его темных глаз.

Прелат, пораженный молодостью эль-хакима, наконец прервал молчание (лекарь, видимо, не торопился его нарушить) и спросил араба, сколько ему лет.

– Годы простых людей, – сказал сарацин, – исчисляются количеством морщин, годы мудрецов – их ученостью. Я не смею считать себя старше, чем сто круговращений хиджры<sup>12\*</sup>.

Барон Гилсленд, приняв эти слова за чистую монету и считая, что ему и впрямь минуло сто лет, нерешительно посмотрел на прелата, который, лучше уразумев значение слов эль-хакима, с таинственным видом покачал головой, как бы отвечая на его вопросительный взгляд. Снова приняв важный вид, он властным голосом спросил Адонбека, как может он доказать, что обладает такими познаниями.

– На это ты имеешь поручительство могущественного Саладина, – сказал ученый, в знак уважения притронувшись к своей шапке. – Он никогда не изменяет своему слову, будь то друг или недруг. Чего же, назарянин, ты еще хочешь от меня?

– Я бы хотел собственными глазами увидеть твоё искусство, – сказал барон, – без этого ты не сможешь приблизиться к постели короля Ричарда.

– Выздоровление больного, – сказал араб, – вот в чем заключается похвала лекарю. Посмотри на этого воина: кровь его иссохла от лихорадки, которая усеяла ваш лагерь скелетами и против которой искусство ваших назарянских лекарей можно сравнить лишь с шелковым плащом, выставленным против стальной стрелы. Посмотри на его пальцы и руки, похожие на когти и ноги журавля. Еще сегодня утром смерть сжимала его в своих объятиях. Но она не вырвала его духа из тела, ибо я стоял на одной стороне его постели, а Азраил по другую

<sup>12</sup> Это означало, что его познания могли быть приобретены в течение ста лет. (Примеч. авт.)

сторону. Не мешай мне, не спрашивай меня больше ни о чем, но жди решительной минуты и с молчаливым удивлением смотри на чудесное исцеление.

Взяв в руки астрлябию, этот оракул восточных мудрецов, лекарь с серьезным видом стал делать свои вычисления. Когда настала пора вечерних молитв, он опустился на колени, повернувшись лицом к Мекке, и начал произносить вечерние молитвы, которыми мусульмане заканчивают трудовой день. Тем временем архиепископ и английский барон смотрели друг на друга, и взгляды их выражали презрение и негодование, однако ни один не решался прерывать эль-хакима в его молитвах, какими бы святотатственными они их ни считали.

Распростертый на земле араб поднялся и, войдя в хижину, где лежал больной, вынул из маленькой серебряной шкатулки губку, очевидно смоченную какой-то ароматной жидкостью. Он приложил ее к носу спящего, тот чихнул, проснулся и мутными глазами посмотрел вокруг себя. Когда он, почти голый, приподнялся на постели, он был похож на привидение. Сквозь кожу были видны его кости и хрящи, как будто они никогда не были облечены плотью. Длинное лицо было изборождено морщинами, его блуждающий взгляд постепенно принимал более осмысленное выражение. Видимо, он отдавал себе отчет в присутствии высоких посетителей, так как слабым жестом пытался в знак уважения обнажить голову, стараясь глухим голосом позвать своего хозяина.

– Узнаешь ты нас, вассал? – спросил лорд Гилсленд.

– Не совсем, милорд, – слабым голосом отвечал оруженосец. – Я спал так долго и видел столько снов. Но я узнаю в вас знатного английского лорда, это видно по красному кресту. А это святой прелат; я прошу благословить меня, бедного грешника.

– Даю тебе его: *Benedictio Domini sit vobiscum*<sup>13</sup>, – сказал прелат, осеняя его крестным знаменем, но не приближаясь к постели больного.

– Ваши глаза – свидетели, – сказал араб, – лихорадка прекратилась. Говорит он спокойно и разумно, пульс бьется также ровно, как ваш, попробуйте сами.

Прелат отклонил это предложение, но Томас Гилсленд, желая довести опыт до конца, взял руку больного и убедился, что лихорадка действительно исчезла.

– Поразительно, – сказал рыцарь, посмотрев на архиепископа, – этот человек, несомненно, выздоровел. Я должен сейчас же отвести лекаря в шатер короля Ричарда. Как вы думаете, ваше преосвященство?

– Подождите немного, дайте мне закончить одно лечение, прежде чем начать другое, – сказал араб. – Я пойду с вами, как только дам пациенту вторую чашку этого священного эликсира.

Сказав это, он достал серебряную чашку и, налив в нее воды из стоявшей около постели тыквы, взял маленький, отороченный серебром вязаный мешочек, содержимое которого присутствующие не могли разглядеть. Погрузив его в чашку, он в течение пяти минут молча смотрел на воду. Как им показалось, сначала послышалось какое-то шипение, но оно скоро исчезло.

– Выпей, – сказал лекарь больному, – усни и проснись уже совсем здоровым.

– И таким простым питьем ты хочешь вылечить монарха? – спросил архиепископ Тирский.

– Я излечил нищего, как вы можете видеть, – отвечал мудрец. – Разве короли Франгистана сделаны из другого теста, чем самые последние из их подданных?

– Отведем его немедленно к королю, – сказал барон Гилсленд. – Он показал, что обладает секретом, чтобы вернуть Ричарду здоровье. Если это ему не удастся, я отправлю его туда, где ему не поможет никакая медицина.

Как только они собрались уходить, больной, пересиливая слабость, воскликнул:

<sup>13</sup> Да будет с вами благословение Божье (лат.).

– Святой отец, благородный рыцарь и вы, мой добрый лекарь, если мне нужно уснуть, чтобы поправиться, то скажите, умоляю вас, что случилось с моим хозяином?

– Он отправился в дальний путь, друг мой, – ответил прелат, – с печальным поручением и задержится на несколько дней.

– Зачем обманывать бедного малого? – сказал барон Гилсленд, – Друг мой, хозяин твой вернулся в лагерь, и ты его скоро увидишь.

Больной как бы в знак благодарности воздел исхудалые руки к небу и, не в силах больше противостоять действию снотворного эликсира, погрузился в спокойный сон.

– Вы более искусный лекарь, чем я, сэр Томас, – сказал прелат, – такая успокоительная ложь лучше для больного, чем неприятная истина.

– Что вы хотите этим сказать, уважаемый лорд? – сказал де Во раздраженно. – Вы думаете, я способен солгать, чтобы спасти десяток таких жизней, как его?

– Вы говорите, – отвечал архиепископ с видимыми признаками беспокойства, – что хозяин оруженосца, этот рыцарь Спящего Леопарда, вернулся?

– Да, он вернулся, – сказал де Во. – Я говорил с ним всего несколько часов назад. Этот ученый лекарь приехал с ним вместе.

– Святая Дева Мария! Что же вы мне ничего не сказали о его возвращении? – сказал архиепископ в явном смущении.

– Разве я не сказал, что рыцарь Леопарда вернулся вместе с этим лекарем? Я думал, что говорил вам об этом, – небрежно проронил де Во. – Но какое значение имеет его возвращение для искусства лекаря и для выздоровления его величества?

– Большое, сэр Томас, очень большое, – сказал архиепископ, стиснув кулаки, топнув ногой и невольно выражая признаки нетерпения. – Где же он теперь, этот рыцарь? Боже мой, здесь может произойти роковая ошибка.

– Его слуга, – сказал де Во, удивляясь волнению архиепископа, – вероятно, может сказать нам, куда ушел его хозяин.

Мальчика позвали. На еле понятном языке он в конце концов объяснил, что какой-то воин разбудил его хозяина и повел в королевский шатер незадолго до их прихода. Беспокойство архиепископа, казалось, достигло апогея, и де Во это ясно понял, хоть и не отличался наблюдательностью и подозрительностью. По мере того как росла тревога прелата, все сильнее становилось желание побороть ее и скрыть от окружающих. Он поспешно простился с де Во. Тот удивленно посмотрел ему вслед, молча пожал плечами и повел арабского лекаря в шатер короля Ричарда.

## Глава IX

*Он – князь врачей: чума, и лихорадка,  
И ревматизм, лишь взглянут на него,  
Вмиг жертву выпускают из когтей.*

### *Неизвестный автор*

Полный тревожных дум, барон Гилсленд медленно шел к королевскому шатру. У него не было веры в свои способности – доверял он им только на поле битвы. Сознывая, что не обладает особенной остротой ума, он довольствовался тем, что принимал события лишь как должное там, где другой, с более живым разумом, старался бы вникнуть в суть дела или по крайней мере поразмыслить о нем. Но даже ему показалось странным, что такое незначительное событие, как путешествие какого-то нищего шотландского рыцаря, могло так внезапно отвлечь внимание архиепископа от удивительного исцеления, свидетелями которого они были и которое сулило возвращение здоровья и Ричарду. Среди людей благородной крови Томас Гилсленд не смог бы назвать человека более ничтожного и презренного, чем Кеннет. Несмотря на привычку равнодушно относиться ко всяким мимолетным событиям, он напрягал свой ум, стараясь уяснить себе причину столь странного поведения прелата.

Наконец у него блеснула мысль, что все это могло быть заговором против короля Ричарда, исходящим из лагеря союзников: не было ничего невероятного в том, что архиепископ, которого некоторые считали хитрым и неразборчивым в средствах политиком, мог принимать в нем участие. По мнению де Во, лишь его властелин обладал высшими нравственными качествами. Ведь Ричард являл собою цвет рыцарства, он возглавлял все христианское воинство и исполнял все заповеди церкви. Дальше этого представления де Во о совершенстве не шли. Все же он знал, что по воле судьбы эти благородные свойства характера его господина не только рождали уважение и преданность, но также, хотя и совершенно незаслуженно, навлекали на него упреки и даже ненависть. В том же самом стане среди монархов, связанных присягой крестоносцев, было много таких, которые с радостью отказались бы от надежды победить сарацин, лишь бы погубить или хотя бы унижить Ричарда, короля английского.

«Поэтому, – сказал себе барон, – нет ничего невероятного в том, что исцеление – или мнимое исцеление – шотландского оруженосца эль-хакимом лишь хитрый обман, к которому причастен рыцарь Леопарда и где может быть замешан архиепископ Тирский».

Однако такое предположение нелегко было согласовать с беспокойством, которое выказал архиепископ при известии о неожиданном возвращении крестоносца в стан. Но де Во прислушивался лишь к голосу своих предрассудков, который подсказывал ему, что хитрый итальянский прелат, коварный шотландец и лекарь-мусульманин – заговорщики, от которых можно ожидать лишь зла, а не добра. Он решил высказать напрямик свои соображения королю, ум которого ставил почти так же высоко, как и его доблесть.

Между тем дальше все пошло совсем не так, как думал Томас де Во. Едва он покинул королевский шатер, как Ричард под влиянием свойственной ему нетерпеливости, усугубленной лихорадкой, начал выражать недовольство его отсутствием и настойчивое желание, чтобы он скорее вернулся. Он уже не способен был сам бороться с раздражительностью, которая усиливала его недуг. Он надоедал своим приближенным, требуя развлечений: но ни требник священника, ни рыцарские романы чтеца, ни даже арфа любимого менестреля – ничто не могло успокоить его. Наконец часа за два до захода солнца, задолго до того времени, когда он мог бы ожидать доклада о результате лечения, предпринятого этим мавром или арабом, он послал за

рыцарем Леопарда, решив получить от него более подробный отчет как о причине его отсутствия из стана, так и о встрече со знаменитым врачом.

Следуя повелению монарха, шотландский рыцарь вошел в королевский покой с видом человека, привыкшего к такой обстановке. Английскому королю он был почти неизвестен, даже по виду. Держась с достоинством, хотя пользуясь своим знатным происхождением, верный в тайном поклонении своей даме сердца, он не упускал случая, когда щедрость и гостеприимство открывали доступ ко двору монарха тем, кто занимал известное положение в рыцарстве. Король пристально смотрел на приближавшегося Кеннета. Рыцарь преклонил колени, затем поднялся и встал так, как подобает в присутствии монарха, в позе почтительного внимания, но отнюдь не покорности или слепого подчинения.

– Тебя зовут, – сказал король, – Кеннет, рыцарь Леопарда? Кто посвятил тебя в рыцари?

– Я был посвящен мечом Вильгельма Льва, короля Шотландского, – ответил шотландец.

– Оружие, – сказал король, – достойное этой почетной церемонии, и плечо, которого оно коснулось, вполне заслужило эту честь. Мы видели, как ты проявлял свою рыцарскую доблесть в пылу сражения, в самых опасных схватках. Ты уже давно мог бы узнать, что мы ценим твои заслуги, если бы не твое высокомерие. Твоя гордость так непомерна, что лучшей наградой за твои подвиги может быть лишь прощение твоих проступков! Что ты на это скажешь?

Кеннет хотел было заговорить, но не мог связно выразить свои мысли. Сознание несоответствия между его скромным положением и высоким положением его дамы сердца, а также пронзительный, соколиный взгляд, которым, как ему казалось, Львиное Сердце проникал в самую глубину его души, приводили его в замешательство.

– Но хотя воины, – продолжал король, – обязаны подчиняться приказам, а вассалы – быть почтительны к своим властителям, мы могли бы простить храброму рыцарю еще больший проступок, чем борзого пса, хотя это и запрещено нашим особым указом.

Ричард не спускал глаз с лица шотландца и, увидев, какое облегчение испытал рыцарь при том обороте, который он придал своей обвинительной речи, едва мог сдержать улыбку.

– С вашего позволения, милорд, – сказал шотландец, – ваше величество должны снисходительно отнестись к нам, бедным благородным шотландцам. Мы ведь находимся вдали от дома, у нас скудные доходы, и мы не можем жить на них, как ваши богатые лорды, пользующиеся кредитом у ломбардцев. Если мы иногда и съедим кусок сушеной оленины с нашими овощами и ячменными лепешками, то тем больше почувствуют сарацины наши удары.

– Ты не нуждаешься в моем разрешении, – сказал Ричард, – ведь Томас де Во, который, как и все мои приближенные, поступает так, как ему заблагорассудится, уже дал тебе разрешение на охоту с борзой и с соколом.

– Только с борзой, если вам угодно знать, – сказал шотландец, – но если вашему величеству угодно будет пожаловать мне разрешение охотиться также с соколом и если бы вы пожелали одарить меня соколом на руку, я надеюсь, что мог бы доставить к королевскому столу отборную дичь.

– Боюсь, что, дай тебе сокола, – сказал король, – ты едва ли дождался бы разрешения охотиться. Я знаю, что о нас, потомках династии Анжу, говорят, что мы так же сурово караем нарушение нашего охотничьего устава, как измену нашей короне. Однако храбрым и достойным людям мы могли бы простить как тот, так и другой проступок. Но довольно об этом. Я хочу знать, сэръ, зачем и с чьего разрешения вы предприняли путешествие к Энгаддийской пещере, что в пустыне у Мертвого моря?

– По повелению Совета монархов святого крестового похода, – отвечал рыцарь.

– А кто посмел дать такой приказ, когда я, не последний в этом союзе, ничего не знал об этом?

– Не подобало мне, ваше величество, – сказал шотландец, – расспрашивать о таких вещах. Я, воин креста, несу службу под знаменем вашего величества, гордясь разрешением ее

нести. Но все же я один из тех, кто возложил на себя символ креста для защиты прав христиан, и, чтобы отвоевать Гроб Господень, я обязан беспрекословно подчиняться приказам государей и военачальников, стоящих во главе этого святого похода. Вместе со всем христианским миром я печалюсь о том, что ваша болезнь – надеюсь, не надолго – лишает вас возможности участвовать в советах, где голос ваш звучит с такой силой. Однако, как воин, я обязан подчиняться тем, на кого возлагается законное право повелевать, иначе я подал бы плохой пример христианскому войску.

– Ты говоришь правильно, – сказал король Ричард, – и вина ложится не на тебя, а на тех, с кем я сведу счеты, если небу угодно будет, чтобы я встал с этого проклятого ложа страдания и бездействия. В чем заключалась твоя миссия?

– Мне кажется, ваше величество, – ответил Кеннет, – лучше было бы спросить об этом тех, кто меня послал и кто мог бы объяснить, зачем я был послан. Я же лишь вкратце могу рассказать о своем путешествии.

– Не криви душой, шотландец, если хочешь сохранить свою жизнь, – сказал рассерженный монарх.

– Когда я давал обет участвовать в этом походе, милорд, – твердо отвечал рыцарь, – я меньше всего думал о сохранении своей жизни и больше заботился о своей бессмертной душе, чем о своем брэнном теле.

– Поистине ты храбрый малый, – сказал король Ричард. – Я люблю шотландский народ, мой благородный рыцарь: он смел, хоть и упрям; на шотландцев можно положиться, хоть иногда обстоятельства заставляли их хитрить. И с вашей стороны я заслуживаю признательности, ибо добровольно сделал для вас то, что вы не могли бы вырвать у меня с помощью оружия и тем более у моих предшественников. Я восстановил крепости Роксбург и Берик, находившиеся в залоге у англичан, я восстановил ваши прежние границы, и, наконец, я отказался от обязательств с вашей стороны приносить клятву верности английской короне, ибо это было навязано вам силой. Я стремился сделать из вас уважаемых и независимых друзей, тогда как прежние короли Англии старались лишь поработить непокорных и мятежных вассалов.

– Все это вы сделали, ваше величество, – сказал Кеннет, почтительно склонив голову. – Все это вы сделали, заключив договор с нашим государем в Кентербери. Поэтому я и множество других, более достойных шотландцев сражаемся против язычников под вашими знаменами. В противном случае мы бы напали на ваши границы в Англии. Если нас теперь немного, то лишь потому, что мы не щадили своей жизни и погибали.

– Признаю, что все это правда, – сказал король. – Вы не должны забывать все то, что я сделал для вашей страны и что я – предводитель христианского союза. Я вправе знать о переговорах в среде моих союзников. Расскажите мне откровенно обо всем, что я имею право знать; я уверен, что от вас я скорее узнаю всю правду, чем от кого-либо другого.

– Раз вы настаиваете, милорд, – сказал шотландец, – я скажу вам всю правду. Я искренне верю, что ваши намерения, что касается главной цели вашего похода, откровенны и честны, чего нельзя сказать о других членах священного союза. Поэтому знайте, что мне было поручено при посредстве энгаддийского отшельника, этого святого человека, уважаемого и защищаемого самим Саладином...

– ...предложить продолжить перемирие, не сомневаюсь в этом, – прервал его Ричард.

– Нет, клянусь святым Андреем\*, нет, мой повелитель, – сказал шотландский рыцарь, – но установить длительный мир и вывести наши армии из Палестины.

– Святой Георгий!\* – воскликнул удивленный Ричард. – Хоть и нехорошо я думал о них, но все же не мог представить, что они унижат себя до такого позора. Скажите, сэр Кеннет, с каким чувством вы передали это послание?

– С горячим одобрением, милорд, – сказал Кеннет. – Когда мы потеряли нашего благородного вождя\*, под эгидой которого я надеялся на победу, я не видел, кто мог бы ему насле-

довать и, как он, вести нас к победе. Поэтому я считал, что лучше избежать поражения, заключив мир.

– А на каких условиях пришлось бы нам заключить этот благословенный мир? – спросил король Ричард, еле сдерживая душивший его гнев.

– Об этом мне не дано знать, милорд, – отвечал рыцарь Спящего Леопарда. – Я передал отшельнику послание в запечатанном пакете.

– А за кого вы принимаете этого почтенного отшельника: за дурака, сумасшедшего, изменника или святого? – спросил Ричард.

– Его дурачество притворное, государь, – отвечал хитрый шотландец. – И я думаю, что он лишь хочет снискать благоволение и уважение со стороны неверных, которые считают такое средство ниспосланным с неба. Мне казалось, что это находит на него лишь случайно, и я не счел это за подлинное безумие, которое расстраивает ум.

– Тонкий ответ! – сказал монарх, снова откинувшись на постель. – Ну а теперь – о его покаянии.

– Покаяние его, – продолжал Кеннет, – мне кажется искренним и является следствием угрызений совести из-за какого-то ужасного преступления, за которое, по его мнению, он осужден на вечное проклятие.

– А какова его политика? – спросил король Ричард.

– Мне сдается, милорд, – сказал шотландский рыцарь, – что он отчаялся в защите Палестины так же, как и в собственном спасении. Он считает, что должно только ждать чуда, в особенности в то время, когда рука Ричарда Английского перестала сражаться за это дело.

– Значит, трусливая политика этого отшельника схожа с политикой злосчастных монархов, которые, забыв честь рыцарства и верность слову, проявляют решимость, лишь когда дело идет об отступлении, а не тогда, когда нужно идти против вооруженных сарацин. Они предпочитают бежать и в своем бегстве топтать умирающего союзника!

– Позволю себе заметить, ваше величество, – сказал шотландский рыцарь, – что этот разговор может лишь усилить вашу болезнь – врага, которого христиане боятся больше, чем вооруженных полчищ сарацин.

Действительно, лицо короля Ричарда еще больше покраснело, жесты стали лихорадочно резкими. Сжатые кулаки, вытянутые руки и блестящие глаза указывали на страдание как от физической боли, так и от душевных мук. Однако это волнение заставляло его продолжать разговор, пренебрегая страданием.

– Вы можете мне льстить, сэра, – сказал он, – по вы от меня не уйдете. Я должен узнать от вас больше того, что вы мне сказали. Вы видели мою царственную супругу, когда были в Энгадди?

– Мне кажется, что нет, милорд, – сказал Кеннет с видимым смущением: ему припомнилась ночная процессия в часовне на горе.

– Я спрашиваю, – сказал король более сурово, – были ли вы в часовне Энгаддийского монастыря и видели ли там Беренгарию\*, королеву Англии, и ее придворных дам, которые отправились туда в паломничество?

– Милорд, – сказал Кеннет, – я чистосердечно признаюсь вам, как на исповеди! В подземной часовне, куда отшельник привел меня, я видел женский хор, поклонявшийся святым реликвиям. Их лиц я не видел, а их голоса слышал только, когда они пели церковные гимны, и я не могу сказать, была ли среди них королева Англии.

– И ни одна из этих женщин не показалась вам знакомой?

Кеннет молчал.

– Я вас спрашиваю, – сказал Ричард, приподнимаясь и опираясь на локоть, – как рыцаря и джентльмена и по вашему ответу узнаю, как вы цените эти звания: была ли среди этих паломниц хоть одна знакомая вам женщина?

– Милорд, – сказал Кеннет не без колебания, – я могу только догадываться...

– Я тоже, – сказал король, угрюмо нахмутив брови. – Но довольно об этом! Вы – Леопард, сэръ, но берегитесь львиной лапы. Лишь сумасшедший мог бы влюбиться в луну, но прыгать с зубчатых стен высокой башни в сумасбродной надежде достичь далекого светила – это безумие самоубийцы.

В этот момент у входа в шатер послышался какой-то шум, и король, быстро меняя тон на более обычный, сказал:

– Довольно, идите. Поспешите к де Во и пришлите его сюда вместе с арабским лекарем. Моя жизнь доверяется султану! Если бы он только отсекся от своей ложной веры, я бы сам своим мечом помог ему прогнать эту французскую и австрийскую нечисть из его владений; я думаю, Палестина могла бы благоденствовать под его властью, как в те времена, когда цари ее были помазанниками самого неба.

Рыцарь Леопарда удалился. Затем камергер доложил, что его величество хотят видеть послы от совета.

– Хорошо, что они еще считают меня живым, – последовал ответ. – Кто эти уважаемые посланцы?

– Гроссмейстер ордена тамплиеров и маркиз Монсерратский.

– Наш французский собрат не любит посещать больных, – сказал Ричард. – Вот если бы Филипп был болен, я уж давно стоял бы у его постели. Джослин, приведи в порядок мою постель: она взбаламучена, как бурное море. Дай мне стальное зеркало, причеши гребнем волосы и бороду. Они и впрямь больше похожи на львиную гриву, чем на локоны христианина. Принеси воды.

– Милорд, – сказал дрожащим голосом камергер, – лекари говорят, что от холодной воды можно умереть...

– К черту лекарей! – ответил монарх. – Если они не могут меня вылечить, неужели ты думаешь, что я позволю им мучить меня? Ну вот, – сказал он, завершив омовение, – зови этих уважаемых посланцев. Я думаю, теперь они едва ли заметят, каким неряшливым сделала Ричарда болезнь.

Прославленный гроссмейстер ордена тамплиеров был высокий, худой, закаленный в сражениях воин с тяжелым, но пронизательным взглядом и лицом, на котором бесчисленные темные замыслы оставили свои следы. Он стоял во главе этого необычайного союза, для членов которого сам орден был все, а люди – ничто. Орден этот, домогаясь лишь распространения своей власти с риском поколебать религию, для защиты которой это братство первоначально было основано, обвиняемый в ереси и колдовстве, хотя он состоял из христианских священников, подозреваемый в секретном союзе с султаном, хотя дал присягу охранять святой храм, – весь этот орден, как и его глава гроссмейстер, являл собой полную загадку, перед которой содрогалось все. Гроссмейстер был облачен в пышные белые одежды, в руках он держал мистический жезл, своеобразная форма которого порождала много догадок и внушала подозрение, что знаменитое братство христианских рыцарей олицетворяло собою самые бесстыдные символы язычества.

Наружность Конрада Монсерратского была гораздо привлекательней, чем вид сопровождающего его смуглого и загадочного воина-монаха. Это был красивый мужчина старше средних лет, храбрый на полях сражений, рассудительный в совете, приветливый и веселый в часы досуга. С другой стороны, его обвиняли в непостоянстве, в мелком и эгоистическом честолюбии, в заботе об увеличении своих владений за счет Латинского королевства в Палестине и, наконец, в тайных переговорах с Саладином в ущерб христианским союзникам.

По окончании обычных приветствий этих высоких особ и учтивого ответа короля Ричарда маркиз Монсерратский начал говорить о причинах их визита: они, по его словам, были

посланы обеспокоенными королями и принцами, которые составляли Совет крестоносцев, чтобы «осведомиться о здоровье их могущественного союзника, храброго короля Англии».

– Нам известно, насколько важным для общего дела считают члены совета вопрос о нашем здоровье, – отвечал король, – и как они страдали, подавляя в себе любопытство в течение четырнадцати дней, боясь, без сомнения, усилить нашу болезнь, если они обнаружат свое беспокойство.

Так как этот ответ прервал поток красноречия маркиза и привел его в замешательство, его более суровый товарищ возобновил разговор и серьезным и сухим тоном, насколько это допускал высокий сан того, к кому он обращался, вкратце сообщил королю, что они пришли от имени совета и всего христианского мира просить, чтобы он не давал пробовать на себе снадобья лекаря-язычника, который, как говорят, послан Саладином, пока совет подтвердит или отвергнет подозрения, которые вызывает эта личность.

– Гроссмейстер святого и храброго ордена тамплиеров и вы, благородный маркиз Монсерратский, – ответил Ричард, – если вам угодно будет пройти в соседний шатер, вы увидите, какое значение мы придаем дружественным увещаниям наших королевских соратников в этой священной войне.

Маркиз и гроссмейстер удалились. Через несколько минут после этого в шатер вошел восточный лекарь в сопровождении барона Гилсленда и Кеннета.

Барон, однако, немного задержался, прежде чем войти, видимо отдавая приказания стоящим перед шатром стражникам.

Входя, арабский лекарь по восточному обычаю приветствовал маркиза и гроссмейстера, на высокое звание которых указывали их одежда и осанка.

Гроссмейстер ответил приветствием с холодным презрением, маркиз – с обычной вежливостью, с какой он неизменно обращался к людям различных званий и народностей. Воцарилось молчание. Ожидая прихода де Во, шотландский рыцарь не счел себя вправе войти в шатер английского короля.

Тем временем гроссмейстер с суровым видом обратился к мусульманину:

– Неверный! Хватит ли у тебя смелости показать свое искусство на помазаннике Божьем – повелителе христианского войска?

– Солнце Аллаха, – отвечал мудрец, – светит как на назарейян, так и на правоверных, и служитель его не смеет делать различия между ними, коль скоро он призван применить свое искусство исцеления.

– Неверный хахим, – сказал гроссмейстер, – или как там тебя, некрещеного слугу тьмы, еще называют, ты должен помнить, что будешь разорван дикими конями, если король Ричард умрет от твоего лечения.

– Суровая расправа, – отвечал лекарь. – Но ведь я могу пользоваться только человеческими средствами, а исход врачевания записан в книге света.

– Нет, уважаемый и храбрый гроссмейстер, – сказал маркиз Монсерратский, – не забывайте, что этот ученый муж незнаком с решением нашего совета, принятым во славу Божью и ради благополучия его помазанника. Да будет тебе известно, мудрый лекарь, в искусстве которого мы не сомневаемся, что для тебя было бы лучше всего предстать перед советом нашего союза и разъяснить мудрым и ученым лекарям способ лечения, которым ты собираешься исцелить нашего высокопоставленного больного. Так ты избежешь опасности, которой легко можешь подвергнуться, беря на себя ответственность в таком важном деле.

– Милорды, – сказал эль-хахим, – я вас прекрасно понял. Но наука так же имеет своих поборников, как и ваше военное искусство, и даже своих мучеников, подобно мученикам за веру. Мой повелитель султан Саладин приказал мне исцелить короля назарейян, и, с благословения пророка, я подчиняюсь его приказаниям. Если меня постигнет неудача, вы пустите в ход мечи, жаждущие крови правоверных, и я подставлю свое тело под удары вашего оружия.

Но я не буду спорить ни с одним несведущим о достоинствах снадобий, которыми я научился пользоваться по милости пророка, и прошу вас без промедления допустить меня к больному.

– Кто говорит о промедлении? – сказал барон де Во, поспешно входя в шатер. – У нас их и так было немало. Приветствую вас, лорд Монсерратский, и вас, храбрый гроссмейстер, но мне нужно провести этого ученого лекаря к постели моего повелителя.

– Милорд, – сказал маркиз на франко-норманнском наречии, или на языке уи, как его тогда называли. – Известно ли вам, что мы пришли сюда, чтобы от имени Совета монархов и принцев-крестоносцев обратить ваше внимание на тот большой риск, который возникнет, если язычнику и восточному лекарю будет позволено играть драгоценным здоровьем вашего повелителя короля Ричарда.

– Благородный маркиз, – резко ответил англичанин, – я не могу сейчас тратить много слов и не имею ни малейшего желания выслушать их. Кроме того, я склонен больше доверять тому, что видели мои глаза, чем тому, что слышали мои уши. Я убежден, что этот язычник может излечить короля Ричарда, и я верю и надеюсь, что он сделает все возможное. Нам дорого время. Если бы сам Мухаммед – да будет он проклят Богом! – стоял у порога шатра с тем же искренним намерением, как этот Адонбек эль-хаким, я считал бы грехом хоть на минуту удержать его.

– Итак, прощайте, милорд.

– Но ведь сам король хотел, чтобы мы присутствовали при лечении, – сказал Конрад Монсерратский.

Барон пошептался с камергером, вероятно, чтобы узнать, правду ли сказал маркиз, и затем ответил:

– Милорды, если вы проявите достаточно терпения, вы можете войти с нами. Но если вы действием либо угрозами станете мешать этому искусному лекарю в исполнении его обязанностей, да будет вам известно, что, невзирая на ваше высокое положение, я силой выведу вас из шатра Ричарда. Знайте: я настолько уверовал в лекарства этого человека, что даже если бы Ричард отказался их принять, я думаю, что нашел бы в себе силы заставить его сделать это даже против его желания. Иди вперед, эль-хаким.

Последние слова были сказаны на лингва-франка; лекарь немедленно подчинился. Гроссмейстер угрюмо посмотрел на бесцеремонного старого воина, но, обменявшись взглядом с маркизом, постарался смягчить суровое выражение лица, и оба пошли за де Во и арабом в шатер, где лежал Ричард. Последний ждал их с нетерпением, с каким больной всегда прислушивается к шагам своего лекаря. Сэр Кеннет, присутствию которого не противились, хотя никто и не просил его уйти, чувствовал, что обстоятельства дают ему право следовать за этими высокопоставленными лицами; однако, помня о своем подчиненном положении и ранге, он держался в некотором отдалении.

Как только они вошли, Ричард воскликнул:

– Ох, добрые друзья пришли посмотреть, как Ричард совершит прыжок во мрак! Мои благородные союзники, приветствую вас, представителей нашего братства. Или Ричард будет опять среди вас в своем прежнем виде, или вы опустите в могилу его бранные останки. Де Во, останусь я жив или умру, прими благодарность твоего государя. Здесь есть еще кто-то, но я плохо вижу, лихорадка затуманила мне глаза... Храбрый шотландец, который хотел без лестницы взобраться на небо\*, приветствую также и его... Подойди ко мне, сэр хаким, и... к делу, к делу!

Лекарь, уже успевший узнать о различных симптомах болезни короля, долго и с большим вниманием щупал его пульс. Все кругом стояли молча, ожидая с затаенным дыханием. Мудрец наполнил чашку ключевой водой и погрузил в нее небольшой красный мешочек, который он вытащил из-за пазухи. Когда он решил, что вода достаточно насыщена, он хотел было предложить ее монарху, но последний воспротивился, сказав:

– Подожди минуту. Ты испробовал мой пульс. Позволь мне положить палец на твою руку. Я, как подобает настоящему рыцарю, тоже кое-что смыслю в твоём искусстве.

Не задумываясь араб дал свою руку, и его длинные, тонкие темные пальцы на одно мгновение скрылись, как бы утонув в широкой ладони короля Ричарда.

– Пульс его бьется ровно, как у ребенка, – сказал король. – Не таков он у тех, кто собирается отравить государя. Де Во, останемся мы жить или умрем, отпусти этого хакима с честью и с миром. Передай, приятель, наш привет благородному Саладину. Если мне суждено умереть, я умру с верой в его честность, останусь жить – сумею отблагодарить его как подобает воину.

Затем он приподнялся, взял в руку чашу и, обернувшись к маркизу и гроссмейстеру, сказал:

– Запомните мои слова, и пусть царственные собратья выпьют кипрского вина за мое здоровье. Пью за бессмертную славу того крестоносца, который первым вонзит копьё или меч в ворота Иерусалима, и да будет покрыт позором и вечным бесчестьем тот, кто повернет вспять от начатого дела и бросит плуг, за который взялась его рука.

Он залпом осушил чашу до дна и передал ее арабу, откинувшись на подушки, как бы обессиленный. Затем лекарь выразительным жестом дал понять, чтобы все покинули шатер, за исключением де Во, которого никакие увещания не могли заставить отойти от больного. Шатер опустел.

## Глава X

*Теперь я тайную раскрою книгу  
И к вашему, как видно, огорченью  
Прочту о важном и опасном деле.  
«Генрих IV», ч. I\**

Маркиз Монсерратский и гроссмейстер ордена тамплиеров стояли перед королевским шатром, где произошла вышеописанная сцена, глядя на стражу со стрелами и алебардами, поставленную у шатра, чтобы никто не потревожил спящего монарха. Молча, опустив угрюмые лица и склоняя оружие, словно на похоронах, стражники ступали так осторожно, что не было слышно ни шума щитов, ни звона мечей, несмотря на то что вокруг шатра непрерывно сновали вооруженные воины. Когда знатные посетители проходили мимо их рядов, воины с глубоким почтением склоняли перед ними свое оружие, ничем не нарушая тишину.

– Видно, приуныли эти собаки-островитяне, – произнес гроссмейстер, обращаясь к Конраду, когда они миновали стражу Ричарда. – Какое шумное веселье царило раньше перед этим шатром! Только и слышен был лязг железа, удары мяча, борьба, хриплые песни, звон кубков и бутылей, как будто эти дюжие йомены справляли сельский храмовой праздник, собравшись вокруг майского дерева вместо королевского знамени.

– Мاستифы – порода преданная, – сказал Конрад, – и их хозяин король снискал их любовью тем, что готов бороться, спорить, пировать со своими любимцами, как только на него найдет веселье.

– Он полон причуд и веселья, – сказал гроссмейстер. – Вы слышали, какой заздравный тост он произнес вместо молитвы, осушая свою чашу?

– Он нашел бы этот напиток слишком крепким и пряным, – сказал маркиз, – если бы Саладин был похож на прочих турок, носящих тюрбан и обращающих лица к Мекке при криках муэдзина. Но Саладин только притворяется верным, честным и великодушным, как будто эта некрещеная собака может подражать христианским добродетелям рыцаря. Говорят, что он обратился к Ричарду с просьбой, чтобы его посветили в рыцари.

– Святой Бернад! – воскликнул гроссмейстер. – Тогда остается только скинуть пояса и шпоры, сэра Конрад, и уничтожить наши гербы, если эта высочайшая честь христианства будет оказана некрещеному турку, не стоящему и десяти пенсов.

– Вы слишком низко цените султана, – отвечал маркиз, – но, хоть он и красивый мужчина, я видел еще более красивого язычника, проданного в рабство за сорок пенсов.

Тем временем они приблизились к своим коням, находившимся недалеко от шатра, где они гарцевали среди блестящей свиты оруженосцев и пажей. Помолчав, Конрад предложил воспользоваться прохладой вечера, отпустить свиту и коней и пройтись до своих шатров по широко раскинувшемуся христианскому лагерю. Гроссмейстер согласился, и они пошли пешком, как бы по молчаливому уговору минуя более населенные части палаточного городка, по широкой эспланаде между шатрами и наружными укреплениями, где могли тайно вести беседу, не замеченные никем, кроме караульных, мимо которых они проходили.

Разговор шел о военных делах и приготовлениях к защите лагеря, но, видимо, он мало интересовал собеседников и скоро прекратился. Воцарилось длительное молчание. Его нарушил маркиз Монсерратский: он вдруг остановился, как человек, принявший внезапное решение. Всматриваясь в неподвижное и мрачное лицо гроссмейстера, он наконец обратился к нему с такими словами:

– Если это совместимо с вашим достоинством и священным саном, уважаемый сэра Жиль Амори, я бы просил вас хоть раз приподнять темное забрало и побеседовать с другом с открытым лицом.

Тамплиер улынулся.

– Есть светлые маски, – сказал он, – как и темные забрала, но и те и другие одинаково скрывают естественное выражение лица.

– Будь по-вашему, – сказал маркиз, коснувшись рукой подбородка и быстро отдернув ее, как бы срывая с себя маску. – Вот и я без маски. А теперь – что вы думаете о судьбе вашего ордена и об исходе Крестового похода?

– Вы срываете покрывало с моих мыслей, не обнаруживая своих, – сказал гроссмейстер. – Я отвечу вам притчей, которую слышал от одного святого пустынножителя: некий земледелец молил небо о ниспослании дождя и роптал, когда дождь был не слишком сильным. В наказание за его нетерпение Аллах, так рассказывал мне пустынножитель, направил реку Евфрат на его хижину, и он погиб вместе со всем своим скарбом, хоть его желание и было исполнено.

– Очень верно сказано, – сказал маркиз Конрад, – хоть бы океан поглотил девятнадцать частей из вооружения этих западных принцев! Оставшаяся часть могла бы лучше служить делу благородных иерусалимских христиан и спасти жалкие остатки Латинского иерусалимского королевства\*. Предоставленные самим себе, мы либо склонились бы перед бурей, либо, получив небольшую подмогу деньгами и войском, принудили бы Саладина уважать нашу честь и достоинство, согласиться на мир и даровать нам свое покровительство. Но этот Крестовый поход грозит Саладину серьезными опасностями. Если они его минуют, он не потерпит, чтобы мы сохранили владения или княжества в Сирии, и, конечно, не допустит существования военных христианских братств, которые причинили ему столько зла.

– Да, но эти отважные крестоносцы, – сказал тамплиер, – могут достичь своей цели и водрузить крест на стенах Сиона.

– Но какую пользу принесет это ордену тамплиеров и Конраду Монсерратскому? – спросил маркиз.

– Вам это может принести пользу, – ответил гроссмейстер, – Конрад Монсерратский может стать Конрадом, королем Иерусалимским.

– Это звучит не так уж плохо, – сказал маркиз, – но все же это лишь звук пустой. Готфрид Бульонский\* может избрать терновый венец своей эмблемой. Должен сознаться, гроссмейстер, что мне очень нравится восточная форма правления: чистая и простая монархия должна состоять лишь из короля и подданных. Это самая примитивная структура: пастух и его стадо. А вся связующая внутренняя цепь феодальной зависимости создается искусственно: она слишком сложна. Я предпочел бы держать жезл моего убогого маркизата, но твердой рукой, и управлять им как я хочу, чем держать скипетр монарха, ограниченный и униженный гордыми феодальными баронами, владеющими землей под защитой иерусалимского кодекса<sup>14</sup>. Король должен править свободно, гроссмейстер, а не под контролем: здесь – канава, там – забор, тут – феодальная привилегия, там – закованный в латы барон, с мечом в руке отстаивающий эти привилегии. Словом, я убежден, что притязания Гвидо де Лузиньяна на престол будут иметь предпочтение перед моими, если Ричард поправится и получит голос при избрании иерусалимского государя.

– Довольно, – сказал гроссмейстер. – Ты меня убедил в своей искренности. Другие могут быть того же мнения, но не всякий, за исключением Конрада Монсерратского, имеет смелость признаться, что желает не восстановления Иерусалимского королевства, но хотел бы владеть

---

<sup>14</sup> *Иерусалимский кодекс* — сборник феодальных законов, составленный Готфридом Бульонским для правительства латинских владений в Палестине после отвоевания у сарацин. Он был составлен при участии патриарха и баронов, духовенства и мирян и, как говорит историк Гиббон\*, «является ценным памятником феодального законодательства, основанного на принципах свободы, характерных для этой системы». (Примеч. авт.)

частью его обломков, как варвары-островитяне, которые не пытаются спасти прекрасное судно от волн, а думают лишь о том, как бы обогатиться за счет кораблекрушения.

– Уж не хочешь ли ты донести о моем намерении? – спросил Конрад, подозрительно и сурово глядя на собеседника. – Так знай же, что мой язык никогда не выдаст моей головы, а моя рука не дрогнет, защищая их. Если хочешь, обвиняй меня публично, я готов защищаться, приняв вызов храбрейшего тамплиера, когда-либо бравшего в руки копьё.

– Ты наскакиваешь на меня, как сорвавшийся конь, – сказал гроссмейстер. – Но клянусь святым храмом, который наш орден поклялся защищать, что я, как верный товарищ, буду всегда советовать с тобой.

– Каким это храмом? – спросил маркиз Монсерратский, который любил пошутить и часто забывал сдержанность и осторожность. – Ты клянешься храмом на горе Сион\*, который был построен царем Соломоном, или этим символическим, аллегорическим зданием, которое, как слышно, члены ваших тайных советов считают символом расширения вашего доблестного и почетного ордена?

Тамплиер бросил на него уничтожающий взгляд, но спокойно ответил:

– Каким бы храмом я ни клялся, будь уверен, маркиз, моя клятва священна. Хотел бы я знать, как связать тебя такой же клятвой.

– Клянусь моей графской короной, – сказал, смеясь, маркиз, – которую я надеюсь до окончания этих войн обратить во что-нибудь более драгоценное. Эта легкая корона холодит мой лоб. Теплая герцогская корона лучше бы охраняла его от этого ночного ветерка, что сейчас дует, а королевская корона, отороченная теплым горностаем и бархатом, была бы еще лучше. Одним словом, наши общие интересы связывают нас. И не подумай, лорд-гроссмейстер, что, если эти государи завоюют Иерусалим и посадят своего короля, они потерпят существование вашего ордена, а также моего жалкого маркизата. Нам не удержать независимость, которой мы теперь пользуемся. Клянусь Пресвятой Девой – этого не будет. Ведь тогда гордые рыцари святого Иоанна должны будут опять накладывать пластыри и лечить чумные язвы в госпиталях. А вы, могучие и почтенные рыцари ордена тамплиеров, должны будете стать простыми воинами, спать втроем на жалкой постели, садиться по двое на одного коня, словом – жить по старому обычаю, запечатленному на вашей печати.

– Достоинства, привилегии и богатство нашего ордена избавят нас от унижения, которым вы нам угрожаете, – с гордостью возразил тамплиер.

– В этом и заключается ваше несчастье, – сказал Конрад Монсерратский, – и вы, достойный гроссмейстер, как и я, знаете, что, если союзные государи одержат верх в Палестине, первым делом они постараются сломить независимость вашего ордена. Если его святейшество Папа вам не покровительствовал бы и крестоносцы не нуждались бы в вашей помощи при завоевании Палестины, это давно бы уже произошло. Одержите вы победу, и вас вышвырнут вон, как осколки сломанного копья за пределы турнирной арены.

– Может быть, и есть доля правды в том, что вы говорите, – сказал тамплиер, хмуро улыбаясь, – но на что мы могли бы надеяться, если союзники отступят со своими войсками и оставят Палестину во власти Саладина?

– Уверенный в своем могуществе, – отвечал Конрад, – султан согласился бы отдать в качестве лена свои обширные владения, чтобы иметь хорошо вооруженных франкских всадников. В Египте и Персии сотня таких иноземных воинов, приданная его легкой кавалерии, обеспечила бы победу над самым страшным противником. Но такая зависимость была бы лишь временной (может быть, лишь при жизни этого предприимчивого султана), но ведь на Востоке империи растут как грибы. Предположим, что он умрет, а мы будем усиливаться благодаря постоянному притоку смелых и отважных воинов из Европы. Что бы только мы ни создали, избавившись от монархов, которые затмевают нас своим величием! И если они останутся здесь

и успешно закончат поход, они всегда будут держать нас в унижении и навяжут нам вечную зависимость.

– Вы прекрасно все это говорите, маркиз, – сказал гроссмейстер, – и ваши слова находят отзвук в моем сердце. Но мы должны быть осторожны: мудрость Филиппа Французского не уступает его доблести.

– Верно! И потому нетрудно будет убедить его отказаться от участия в походе, к которому он так опрометчиво примкнул, подчиняясь мимолетному порыву или уговорам своих приближенных. Он завидует королю Ричарду, своему заклятому врагу, и жаждет вернуться, чтобы осуществить свои честолюбивые замыслы ближе к Парижу, чем к Палестине. Любой благовидный предлог послужит ему поводом, чтобы сойти со сцены, ибо здесь он лишь попусту тратит силы своего королевства.

– А эрцгерцог Австрийский? – спросил тамплиер.

– Что касается эрцгерцога, – отвечал Конрад, – то самодовольство и глупость приведут его к тому же решению, что и хитрость и мудрость Филиппа. Он считает, что с ним поступили неблагородно, потому что людская молва – и даже его собственные миннезингеры<sup>15</sup> – только и восхваляют короля Ричарда, которого он боится и ненавидит и несчастьем которого он радовался бы, подобно тому, как трусливые дворянки, видя, что волк схватил ту, что впереди, скорее сами схватят ее сзади, чем придут ей на помощь. Все это я говорю, чтобы ты понял, как искренне я желаю, чтобы этот союз распался и страна освободилась бы от этих великих монархов со всем их войском. И ты отлично знаешь и видишь сам, что все эти владетельные и могущественные монархи, за исключением одного, горят желанием заключить с султаном мир.

– Согласен, – сказал тамплиер. – Слеп был бы тот, кто не заметил бы этого во время последних обсуждений. Но приподними еще немного свою маску и расскажи, где кроется истинная причина того, что ты навязал совету этого северного англичанина, или шотландца, или как там еще называют этого рыцаря Леопарда, для передачи мирных предложений?

– Тут есть веские причины, – заметил итальянец. – Как уроженец Британии, он удовлетворял требованиям Саладина, который знал, что он служит в войске Ричарда, но его шотландское происхождение и личное нерасположение к нему Ричарда делают маловероятным, чтобы наш посланец по возвращении мог получить доступ к постели больного короля, для которого его присутствие всегда было невыносимым.

– Какая хитрая политика! – сказал гроссмейстер. – Поверь мне, вам никогда не опутать итальянской паутиной этого неостриженного Самсона с Британских островов; хорошо, если вам удастся связать его новыми веревками, да и то самыми крепкими. Разве вы не видите, что посланец, которого вы избрали с таким старанием, привез нам лекаря, чтобы вылечить этого англичанина с львиным сердцем и бычьей шеей, дабы он мог продолжать свой Крестовый поход? А коль скоро он еще раз будет способен ринуться вперед, кто из монархов посмеет остаться позади? Они должны из чувства стыда последовать за ним, хотя с таким же удовольствием они стали бы сражаться под знаменем Сатаны.

– Не беспокойтесь, – сказал Конрад Монсерратский. – Прежде чем лекарь своими волшебными зельями вылечит Ричарда, и если только ему не будут помогать сверхъестественные силы, можно будет вызвать раздор между французом, австрийцем и его английскими союзниками, да так, что брешь эту уже нельзя будет заделать. Если Ричард и встанет с одра болезни, то он сможет командовать лишь своими собственными войсками, но никогда больше, как бы энергичен он ни был, он не сможет возглавить весь Крестовый поход.

– Ты искусный стрелок, – сказал тамплиер, – но, Конрад Монсерратский, лук твой слишком слаб, чтобы домчать стрелу до такой цели.

---

<sup>15</sup> Так называли германских менестрелей. (Примеч. авт.)

Тут он остановился и подозрительно оглянулся, чтобы убедиться, что его никто не подслушивает. Взяв Конрада за руку, он крепко сжал ее, испытующе всматриваясь в лицо итальянца, и медленно произнес:

– Ричард встанет с постели, говоришь ты? Конрад, он не должен встать никогда!

Маркиз Монсерратский вздрогнул:

– Что? Так ты говоришь о Ричарде Английском, Львином Сердце, защитнике христианства?

Он побледнел, и колени у него задрожали. Тамплиер посмотрел на него холодным взглядом, и презрительная улыбка искривила его лицо.

– Знаешь, на кого ты похож в этот момент, сэр Конрад? Не на расчетливого и храброго маркиза Монсерратского, руководящего Советом монархов и вершащего судьбы империй, а на новичка, который, наткнувшись на заклинания в волшебной книге своего учителя, вызвал дьявола, совершенно не думая о нем, и теперь в ужасе стоит перед появившимся духом.

– Я согласен с тобой, – сказал Конрад, приходя в себя, – что если только нет другого надежного пути, то ты намекнул на тот, что ведет прямо к нашей цели. Но Святая Дева Мария! Мы станем проклятием всей Европы, проклятием каждого – от Папы на его троне до жалкого нищего: сидя на церковной паперти, в лохмотьях, покрытый проказой, испивший до дна чашу людских страданий, он будет благословлять небеса, что имя его не Жиль Амори и не Конрад Монсерратский.

– Если так, – сказал гроссмейстер с прежним хладнокровием, – будем считать, что между нами ничего не было, что мы разговаривали во сне: проснулись, и видение исчезло.

– Оно никогда не исчезнет, – отвечал Конрад.

– Ты прав, – сказал гроссмейстер, – видения герцогских и королевских корон нелегко отогнать.

– Ну что ж, – ответил Конрад, – прежде всего я попытаюсь посеять раздор между Австрией и Англией.

Они расстались. Конрад стоял, провожая взглядом развевающийся белый плащ тамплиера; он медленно удалялся и скоро исчез в темноте быстро надвигавшейся восточной ночи. Гордый, честолюбивый, неразборчивый в средствах и расчетливый, маркиз Монсерратский не был жестоким по натуре. Слостолюбивый эпикуреец, он, как и многие люди этого типа, не любил причинять боль другим даже из эгоистических побуждений и чувствовал отвращение ко всяким проявлениям жестокости. Ему удалось также сохранить уважение к своей собственной репутации, которое иногда возмещало отсутствие более высоких принципов, поддерживающих репутацию.

«Да, я действительно вызвал демона и получил по заслугам, – подумал он, устремляя взгляд туда, где в последний раз мелькнул плащ тамплиера. – Кто бы мог подумать, что этот строгий аскет гроссмейстер, чье счастье и несчастье так слиты с его орденом, способен сделать для его процветания больше, чем могу я в заботах о своих выгодах? Правда, я хотел положить конец этому безумному Крестовому походу, но я не дерзал и помыслить о том плане, который этот непреклонный жрец осмелился предложить мне. Но это самый верный, быть может, самый безопасный путь».

Таковы были размышления маркиза, когда его немой монолог был нарушен донесшимся издали звуком человеческого голоса, возвещавшего зычным тоном герольда: «Помни о Гробе Господнем!»

Призыв этот, словно эхо, передавался от одного часового к другому; повторять его входило в обязанности часовых, чтобы все крестоносцы помнили о той цели, ради которой они взялись за оружие. Хотя Конрад был знаком с этим обычаем и привык часто слышать этот предостерегающий голос, в эту минуту он так гармонировал с его собственными мыслями, что ему показалось, будто он слышит голос с неба, предостерегающий его от злодеяния, которое

он замышлял. Он с тревогой посмотрел вокруг, словно, подобно древнему патриарху, хотя и при совсем других обстоятельствах, ожидал увидеть запутавшегося в чаще ягненка\* – замену той жертвы, которую его сообщник предлагал ему принести, но не Всевышнему, а Молоху\* их собственного честолюбия. Озираясь кругом, он увидел широкие складки английского знамени, развевающегося под дуновением слабого ночного ветерка. Оно стояло на искусственном холме почти в центре лагеря. Быть может, в древние времена какой-нибудь еврейский вождь или воин воздвиг этот памятник на месте, избранном им для своего вечного успокоения. Как бы то ни было, древнее его название было забыто; крестоносцы назвали его холмом святого Георгия, ибо на этой высоте английское знамя царило над знаменами всех знатных и благородных вельмож и даже королей, как бы олицетворяя верховную власть короля Англии.

В остром уме Конрада мысли рождались с быстротой молнии. Один взгляд на знамя сразу развеял его нерешительность. Быстрыми и твердыми шагами направился он к своему шатру с видом человека, решившего осуществить свой план. Он отпустил великолепную свиту, которая ждала его возвращения. Улегшись в постель, он повторил про себя уже несколько измененное намерение сначала испробовать более мягкие средства, прежде чем прибегнуть к более решительным:

«Завтра я буду сидеть за столом у эрцгерцога Австрийского. Посмотрим, нельзя ли осуществить нашу цель, не прибегая к жестоким замыслам тамплиера».

## Глава XI

*Известно в нашей северной стране,  
Что знатность, мужество, богатство, ум  
Друг другу уступают по значенью.  
Но зависть, что идет за ними вслед,  
Как гончая за молодым оленем,  
По очереди всех их низлагает.*

*Сэр Дэвид Линдсей\**

Леопольд, великий герцог Австрии, был первым властителем этой благородной страны, обладавшим столь высоким титулом. Он получил герцогский титул в Германской империи благодаря близкому родству с императором Генрихом и владел самыми прекрасными провинциями, орошаемыми Дунаем. Репутация его была запятнана вероломным поступком, совершенным в связи с походом в Святую землю. Запятнал он свою репутацию, взяв Ричарда в плен, когда последний, переодетый и без всякой свиты, возвращался на родину через его владения. Поступок этот не соответствовал, однако, характеру Леопольда. Его скорее можно было назвать слабохарактерным и тщеславным, чем честолюбивым и деспотическим правителем. Его умственные способности гармонировали с его внешностью. Он был высок ростом, красив и силен, на белой коже его лица играл яркий румянец. Длинные светлые волосы ниспадали на плечи красивыми локонами. Однако в его походке была заметна какая-то неловкость, как будто ему не хватало силы, чтобы приводить в движение свое статное тело, и хотя он носил роскошные одежды, казалось, что они ему не к лицу. Как правитель, он недостаточно сознавал свое достоинство; часто не зная, как заставить приближенных подчиняться своей власти, он прибегал к грубым выражениям и даже стремительным насильственным действиям, чтобы вновь завоевать потерянную территорию, которую легко можно было бы сохранить, выказав больше присутствия духа при возникновении конфликта.

Эти недостатки были видны не только окружающим: сам эрцгерцог иной раз с горечью сознавал, что не вполне подходит к несению своих высоких обязанностей. К этому надо добавить нередко мучившее его, иногда вполне оправданное подозрение, что окружающие не уважают его.

Впервые присоединившись к Крестовому походу со своей великолепной свитой, Леопольд пожелал установить дружбу и близкие отношения с Ричардом. Для этого он предпринял действия, на которые английский король должен был ответить. Однако эрцгерцог, хоть и не лишенный храбрости, совершенно не обладал дерзновенной пылкостью характера Львиного Сердца, который искал опасности, как влюбленный юноша домогается благосклонности своей возлюбленной. Король очень скоро почувствовал к нему презрение.

Кроме того, Ричард, норманнский властитель (а этому народу вообще была свойственна умеренность), презирал германцев за склонность к веселым пиршествам, а в особенности за их пристрастие к вину. По этим, а также другим личным причинам король Англии вскоре стал смотреть на австрийского принца с презрением, которое даже не старался скрывать или смягчать. Это немедленно было замечено подозрительным Леопольдом, который ответил ему глубокой ненавистью. Вражда искусно разжигалась тайными интригами Филиппа Французского, одного из самых дальновидных монархов того времени. Последний, опасаясь вспыльчивого и властного характера Ричарда и видя в нем своего главного соперника, чувствовал себя оскорбленным тем, что Ричард, имевший владения на континенте и будучи поэтому вассалом Франции, относился по-диктаторски к своему сюзерену. Филипп старался укрепить свою партию

и ослабить партию Ричарда, привлекая к себе менее влиятельных монархов-крестоносцев с целью убедить их не подчиняться королю Англии. Таковы были расчеты и настроения эрцгерцога Австрийского, когда Конрад Монсерратский решил разжечь его ненависть к Англии и тем привести союз крестоносцев если не к распаду, то по крайней мере к ослаблению.

Для визита был избран полдень; он явился под предлогом преподнести эрцгерцогу кипрского вина, которое незадолго до того попало в руки, чтобы тот мог убедиться в его преимуществе перед венгерским и рейнским. В ответ на это эрцгерцог любезно пригласил Конрада к столу. Все было сделано, чтобы пиршество оказалось достойным единовластного государя. Но итальянец, обладавший утонченным вкусом, увидел в обилии яств, от которых ломился стол, не изысканность и блеск, а скорее обременительную роскошь.

Хотя германцы унаследовали воинственный и открытый характер своих предков, покоривших Рим, они сохранили немало следов былого варварства. Рыцарские обычаи и законы не достигли среди них утонченности, свойственной французским и английским рыцарям. Они не соблюдали строго предписанных правил поведения в обществе, которые свидетельствовали о высокой культуре и воспитании французов и англичан. Сидя за столом эрцгерцога, Конрад был ошеломлен, его со всех сторон оглушали звуки тевтонских голосов. Все это отнюдь не гармонировало с торжественностью роскошного банкета. Их платье тоже казалось ему вычурным. Многие из знатных австрийцев сохраняли свои длинные бороды и носили короткие куртки разных цветов, скроенные и разукрашенные по образцу, не принятому в Западной Европе.

Большое число приближенных, старых и молодых, прислуживало в шатре, иногда вмешиваясь в разговор. Они получали остатки пиршества и поглощали их тут же за спинами гостей. Было там и много шутов, карликов и менестрелей, которые вели себя шумнее и развязнее, чем это им было бы позволено в более светском обществе. Так как им разрешалось принимать участие в попойке (а вино там лилось рекой), то их бесчинства становились все более непристойными.

Во время пира, среди говора и суматохи, что делало шатер больше похожим на немецкую таверну во время ярмарки, эрцгерцогу все же прислуживали согласно этикету. Это говорило о том, что он стремился сохранить торжественный церемониал, к которому его обязывало высокое положение. Ему прислуживали с колена, и притом лишь пажи дворянского происхождения; еда подавалась ему на серебряных блюдах, токайское и рейнское вино он пил из золотого кубка. Его герцогская мантия была роскошно оторочена горностаем, а корона могла бы поспорить с королевской. Ноги его, обутые в бархатные сапоги, длиной вместе с острыми концами около двух футов, покоились на скамеечке из массивного серебра. Желая оказать внимание и честь маркизу Монсерратскому, он посадил его с правой стороны от себя. Тем не менее он обращал больше внимания на своего Spruchsprecher'a, то есть рассказчика, стоящего тоже справа, позади него.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.